

ПЕРЕКРЕСТЬЯ
РУССКОЙ
МЫСЛИ

андрей
ТЕСЛЯ

Андрей Александрович Тесля, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, кандидат философских наук. В серии **«Перекрестья русской мысли»** делается попытка продвинуть **ключевых персонажей интеллектуальной жизни** России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и **создать наиболее точную и объемную картину эпохи.**

александр
ГЕРЦЕН

В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, **глубоко оригинальной позиции, в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон.**

сборник
“НАШИ” и “**НЕ** НАШИ”
письма русского

Перекрестья русской мысли

Александр Герцен

**«Наши» и «не наши».
Письма русского (сборник)**

«РИПОЛ Классик»

до 1869 г.

УДК 122/129
ББК 71.0

Герцен А. И.

«Наши» и «не наши». Письма русского (сборник)
/ А. И. Герцен — «РИПОЛ Классик», до 1869
г. — (Перекрестья русской мысли)

ISBN 978-5-386-09644-1

Современный читатель и сейчас может расслышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители, публицисты, литературные критики о судьбах России и ее историческом пути, о сложном переплетении культурных, социальных, политических и религиозных аспектов, которые сформировали невероятно насыщенный и противоречивый облик страны. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка сдвинуть ключевых персонажей интеллектуальной жизни России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и создать наиболее точную и объемную картину эпохи. Александр Иванович Герцен – один из немногих больших русских интеллектуалов XIX века, хорошо известных не только в России, но и в мире, тот, чье интеллектуальное наследие в прямой или, теперь гораздо чаще, косвенной форме прослеживается до сих пор. В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, глубоко оригинальной позиции, в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон. Вниманию читателя представляется сборник ключевых работ Герцена в уникальном составлении и со вступительной статьей ведущего специалиста и историка русской философии Андрея Александровича Тесли.

УДК 122/129

ББК 71.0

ISBN 978-5-386-09644-1

© Герцен А. И., до 1869 г.

© РИПОЛ Классик, до 1869 г.

Содержание

Андрей Тесля	7
Перекрестья русской мысли	7
Александр Герцен: первый опыт синтеза западничества и славянофильства[2]	9
А. И. Герцен	18
Главы из «Былого и дум» (1858)	18
Глава XXIX	18
Глава XXX	31
Глава XXXII	52
Н.Х. Кетчер (1842–1847)	58
С того берега	77
Конец ознакомительного фрагмента.	88

**Александр Иванович
Герцен, Андрей Тесля
«Наши» и «не наши».
Письма русского (сборник)**

© Тесля А. А., вступительная статья, 2016

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», издание, оформление, 2017

Андрей Тесля

Перекрестья русской мысли

XIX век был веком историзма, который для нас нынешних выглядит зачастую вполне анахронистично, с попыткой найти «исток» своей истории, момент начала, который бы определял дальнейшее, и вглядываясь в который можно наилучшим образом понять современность. Прошлое здесь выступало в двоякой роли – в качестве того, что определяет нас и в то же время чему мы можем изменить, сознательно или по невежеству, от непонимания, недостаточного осознания своего прошлого. Осознание истории тем самым должно было вернуть сознающего самому себе – ему надлежало узнать, кто он есть, и тем самым измениться.

В шестом «Философическом письме» (1829) Чаадаев писал:

«Вы уже наверное заметили, сударыня, что современное направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание в историческую форму. Размышляя о философских основах исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на которой она стояла до сих пор. В настоящее время разум, можно сказать, только и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их исключительно из воспоминаний, из обзора пройденного пути, из изучения тех сил, которые направили и определили его движение в продолжение веков».

Для русской мысли споры о прошлом и о месте России в мировой истории были непосредственно обращены к современности – разместить себя в истории означало для XIX века, как во многом и для нас сегодняшних, определить положение в мире, оправдать одни надежды и отбросить иные, предаться отчаянию или воодушевиться масштабностью перспектив. Определяемое настоящим моментом, интерпретация прошлого возвратным образом дает нам понимание современности, а исходя из него мы действуем, т. е. совершаем поступки, направленные в будущее, и, следовательно, независимо от того, насколько верным или нет было наше понимание прошлого, оно оказывается реальным по своим последствиям.

Интерес к прошлым спорам в истории русской мысли определяется не столько их кажущейся «непреходящей актуальностью», сколько тем обстоятельством, что мы по сей день говорим во многом посредством интеллектуального словаря, что возникает в ту эпоху, используем противопоставления, определившиеся тогда, и, встречаясь с ними в прошлом, испытываем «радость узнавания», которая нередко оказывается лишь следствием ложного отождествления.

Кажущаяся актуальность полемики прошлого связана с тем, что мы раз за разом изымаем тексты прошлого из их контекста – так, «западники» и «славянофилы» начинают встречаться далеко за пределами споров в московских гостиных и на страницах «Отечественных записок» и «Москвитянина», оказываясь вневременными понятиями; одинаково употребляемыми и применительно к 1840-м; и к 1890-м; и к советским спорам 1960-х; «азиатская деспотия» или «восточные нравы» с тем же успехом начинают встречаться хоть в XX в. до Р.Х.; хоть в XX в. от Р.Х. Соблазн наделять историю функцией прояснения смыслов современности приводит к тому что сами исторические отсылки оказываются вневременными – исто-

рия в этом случае берет на себя роль философии; в результате оказываясь несостоятельной ни как история; ни как философия.

Напротив; если говорить об актуальности подлинной; то она состоит в первую очередь в восстановлении интеллектуальной генеалогии – идеи; образы; символы; которые представляются в первом приближении «самой собой разумеющимися»; едва ли не «вечными»; раскрываются в момент их возникновения; когда они являются еще только наметками, попытками разметить пока еще неописанную «пустыню реальности». О заслуженно знаменитой книге о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (1938) Николай Бердяев отзывался; что точнее ее было бы назвать «Беспутство русской мысли» – исторический разбор все приводил к тому что думали не так; не о том; не в той последовательности или вообще без оной. Но даже если мы согласимся вдруг со столь печальной оценкой; и в этом случае обращение к истории не будет бесплодным; ведь дело не только в вердикте; но и в понимании логики споров прошлого: «в его безумье есть система». Впрочем; сами мы так не думаем – разочарование есть обычно следствие предшествующего очарования; чрезмерных надежд; ожидания найти ответы на «последние вопросы». Но; как писал Карамзин (1815); «всякая История; даже и неискусно писанная; бывает приятна; как говорит Плиний; тем более отечественная. [...] Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого, и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть [...]».

* * *

В серии «Перекрестья русской мысли» планируется выход избранных текстов русских и российских¹ философов, историков и публицистов, имеющих определяющее значение для выработки языка, определения понятий и формирования существующих по сей день образов, посредством которых мы осмысляем и представляем себе Россию/Российскую империю и ее место в мире. В числе авторов, чьи тексты войдут в серию, будут и общеизвестные фигуры, такие как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. М. Карамзин, М. П. Катков, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, так и менее известные сейчас, но без знакомства с которыми история русской общественной мысли XIX века явно неполна – М. П. Драгоманов, С. Н. Сыромятников, Б. Н. Чичерин и другие. Задачей данной серии является представить основные вехи в истории дебатов о русском прошлом и настоящем XIX века – золотом веке русской культуры – без идеологического выпрямления и вчитывания в тексты прошлого сиюминутной проблематики современности. По нашему глубокому убеждению, знакомство с историей русских общественных дебатов позапрошлого столетия без стремления непосредственно перенести их в современность – гораздо более актуальная задача, чем попытка использовать эти тексты прошлого в качестве готового идеологического арсенала.

¹ В последнем случае имеется в виду подданство автора, в отличие от самоидентификации.

Александр Герцен: первый опыт синтеза западничества и славянофильства²

На Герцене как на даровитом искреннем человеке видна эволюция передового человека. Он поехал на Запад, думая, что там найдет лучшие формы. Там перед его глазами прошли революции, и у него появилось разочарование в западном строе и особенная любовь и надежда на русский народ.

Л.Н. Толстой в разговоре с Э. Моодом, 17 октября 1906 г.³

Для советских интеллектуалов на протяжении десятилетий А.И. Герцен (1812–1870) был одной из немногих официально разрешенных «отдушин» – при всех колебаниях курса в отношении интерпретации конкретных фигур, при постоянном пересмотре пантеона, выдвигании одних и исключении других⁴, его место было обеспечено благодаря во многом случайной статье В.И. Ленина⁵, написанной к столетней годовщине со дня его рождения, в 1912 г. Он был тем, кто входил в генеалогию праотцов русской революции, вместе с декабристами числясь в ряду «дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века». И, как и декабристы, для советского мира он был узаконенным выходом в иной мир – мир дворянского быта, иных, далеких от «революционной этики», представлений о должном, иных способов жить с собой и с другими.

И декабристам, и Герцену пришлось поплатиться за этот статус – включенные в революционный канон как «предшественники» и «провозвестники» (причем декабристы во многом благодаря усилиям самого Герцена и той интерпретации, которую он дал декабристскому движению), они при пересмотре отношения к самой революционной традиции оказались пострадавшими – теперь они выступили в качестве тех, кто готовил условия и создавал предпосылки для последующей катастрофы, русский XX век выступил результатом их усилий, – и оценка последнего возвратным образом стала основанием для пересмотра отношения к первым. Впрочем, как предшественники отдаленные, они не столько вызвали посмертное осуждение, сменившее хвалу, сколько потеряли интерес – если теперь можно было непосредственно изучать тот самый дворянский мир, интеллектуальные разногласия и быт московских салонов 1830–1840-х, то потребность в камуфляже исчезла.

Для советского мира Герцен был дозволенной альтернативой и в ином, куда более существенном смысле, поскольку его тексты, одновременно почитаемые и яркие, представляли альтернативу не «социализму», но в рамках «социализма», другой вариант, не вынуждавший противопоставлять себя советскому миру, но ставить под вопрос, опираясь на авторитет классика, то, что иначе выступало бесспорным – отстаивать словами «русского социалиста» принципы, которые, без ссылки на авторитет, выглядели бы апелляцией к «либерализму» (противопоставляемому «демократизму»). Но там, где ранее он был пределом дозволенного, теперь он стал с противоположной стороны – вновь столь же непоследовательный и колеблющийся, теперь он представал как частный случай русского движения «влево», неспособности удовлетвориться конкретными решениями, принять существующий

² Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

³ Литературное наследство. Т. XC: У Толстого. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн. 2. 1906–1907. – М.: Наука, 1979. С. 273.

⁴ Достаточно вспомнить историю изучения народничества, после бурного расцвета в 1920-х затем фактически ликвидированную и лишь уже в весьма скромных формах вновь начавшую развиваться с 1960-х.

⁵ Ленин В.И. Памяти Герцена. – Первоначальная публикация: Социал-демократ № 26, 8 мая (25 апреля) 1912 г.

порядок вещей и стремиться к частным переменам, а не к общему изменению всего сущего. Изучая Герцена как основоположника русской революционной традиции, Мартин Малиа⁶ интересовался именно тем, почему в русской мысли возобладали крайние течения – случай Герцена представлялся ему в этом отношении весьма показательным и многое проясняющим: как и многие другие интеллектуалы в ситуации, когда они не имеют возможности влиять на существующий порядок вещей, он не испытывал необходимости сдерживать ход своей мысли – реальные ограничители, в виде попыток применить эти идеи на практике, отсутствовали, но в равной мере они отсутствовали и для куда более умеренных. Независимо от того, насколько радикальной или умеренной, реформистской или революционной, конституционной или ниспровергающей была политическая позиция, она в любом случае оказывалась противостоящей власти, в любом случае существующий режим рассматривал ее сторонника в качестве врага, а не оппонента, а раз так, то исчезали причины быть сдержанным в своих мыслях и чаяниях, поскольку в любом случае путь к их осуществлению мог лежать лишь через радикальное изменение существующего порядка вещей – всему надлежало измениться, чтобы что-нибудь могло быть воплощено. Спор или скорее ссора Герцена с «молодой эмиграцией» в подобной интерпретации означал не столкновение двух разных позиций, а Немезиду – Герцен столкнулся с теми, кто шел и рассуждал по той же модели, что была присуща ему в молодые годы и в первые годы эмиграции.

Для левых Герцен изначально был слишком «справа», его вновь и вновь – и не без оснований – подозревали в либерализме (с чем охотно соглашалась отечественная либеральная мысль в начале XX века, дабы с опорой на авторитет Герцена противостоять революционным лозунгам), непоследовательности, колебаниях. Он был легко отдан ими истории, поскольку извлечь из его наследия нечто актуальное для современной левой мысли если и можно, то не прямым путем, он не только слишком погружен в свое время, в давно отошедшие споры, так к тому же является и автором тех самых упований на возможность «крестьянского» социализма, на обходной путь к будущему, минуя буржуазный мир, которые несколько раз были похоронены в разных уголках мира сначала в XIX, а затем и в XX веке.

Если сами причины относительного ослабления интереса к фигуре Герцена достаточно понятны, то это еще не делает подобное положение вещей справедливым. Помимо прочего Герцен – один из немногих больших русских интеллектуалов XIX века, хорошо известных не только в России, но и в мире, тот, чье интеллектуальное наследие в прямой или, теперь гораздо чаще, косвенной форме прослеживается до сих пор. Для XIX века он представал скорее парадоксалистом – в век, начавшийся большими философскими системами и продолжившийся огромными постройками «позитивного» знания, его стиль мышления – нелюбовь к масштабным теоретическим построениям, претендующим на универсальное объяснение и предписывание всеобщих законов, преднамеренный акцент на вероятности, возможности, игре случайностей, восприятие истории как вариативной, что не делало ее лишенной смысла, но представляла смысл, исторически реализовавшийся, лишь одним из принципиально возможных – скорее удивлял, чем привлекал следовать, ведь вождь и теоретик должен направлять, а не рассуждать на глазах ведомых, говорить от лица «Истории», а не от собственного⁷.

⁶ См.: Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855 / вступ. ст. А. Павлова; пер. с англ. А. Павлова, Д. Узланера. – М.: Территория будущего, 2010.

⁷ См. замечательный по глубине философский анализ мысли Герцена: Хестанов Р.З. Александр Герцен: импровизация против доктрины. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

* * *

В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций – от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон в начале 1840-х к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» в 1846–1847 гг. к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, глубоко оригинальной позиции; в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон; в частности дав социалистическую интерпретацию русской общине; т. е. осуществив акклиматизацию «социализма» и создав «русский социализм».

Собственно; сам спор западников и славянофилов; явное противостояние двух позиций – довольно непродолжительный эпизод в истории русской мысли; почти целиком укладывающийся в границы 1840-х годов с прологом в 1820–1830-х. Уже к 1850-м это противостояние отошло в прошлое: символическим водоразделом служит смерть В. Г. Белинского в 1848 г. – полемисты продолжали перебрасываться аргументами; в первую очередь; правда; «западники»⁸; но линии противостояния быстро меняются; и уже к 1856 г. это разграничение практически ни о чем не говорит в текущих спорах. Сам Герцен в 1863 г. писал:

«[...] не мы придали учено-литературному спору тридцатых годов историческую важность в умственном развитии России; а так и было на деле. О самом споре мы не будем распространяться; об нем писали много; мы только напомним; что одна сторона стремилась продолжить петровский переворот в смысле *революционном*, усвоивая России все выработанное народами с 1789 и перенося на нашу почву английские учреждения; французские идеи; германскую метафизику. Считая западные формы гражданственности выше форм топорной работы Петра I и его наследников; они были совершенно правы; но принимая их за *едино спасающие*, общечеловеческие формы, идущие ко всякому быту они впадали в вечную ошибку французских революционеров. Противники их возражали им, что формы, выработанные западной жизнью, хотя бы и имели общечеловеческое развитие, но рядом с ним должны были сохранить и свои частно-народные элементы, что эти элементы останутся нам чужими и не удовлетворят нас, потому что у нас другие притязания и другие препятствия, другое прошедшее и другая обстановка в настоящем. К этому присоединялась вера в элементы, лежащие в бытие народном, и раздражительная обидчивость за прошедшее.

До ясности не договорились ни те, ни другие, но по дороге было возбуждено множество вопросов; в полном разгаре спора его настигла Февральская революция» (XVII, 100–101)⁹.

Как уже отмечалось, в этом споре Герцен – один из наиболее заметных представителей «западничества», наряду с В. Г. Белинским, Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным: блистательный публицист сначала «Отечественных записок», а затем «Современника», известный беллетрист, он куда чаще спорит со славянофилами не на страницах журналов, а в московских гостиных, часами препираясь о самых разных предметах с А. С. Хомяковым, не меньшим, чем он сам, острословом и диалектиком, охотно и вдумчиво беседует с братьями Киреев-

⁸ По причине отсутствия у «славянофилов» собственного печатного органа; а с 1852 г. и постигшего основных участников славянофильского кружка цензурного запрета; снятого только в 1856 г.; уже в новое царствование

⁹ Здесь и далее все ссылки на издание: *Герцен А. И. Собрание сочинений*: В 30 т. (М.: Изд-во АН СССР, 1954–1965) даются в тексте, римскими цифрами обозначается соответствующий том, арабскими – страницы.

скими, Иваном и Петром, которых, в отличие от Хомякова, он уважает и признает не только их ум, но и нравственный авторитет, дружит с молодым К. С. Аксаковым и притягивает к Ю. Ф. Самарину. Разногласия между западниками и славянофилами все возрастают, во многом благодаря петербургским западникам во главе с Белинским – заочная полемика, не говоря уже о характере Виссариона Григорьевича, сильно способствует резкости постановки вопросов и решительности выводов, заочно трудно дружить, но легко ссориться, – и в 1844 г. два кружка разойдутся окончательно. Идейные споры перерастали в личное отчуждение; о попытке примирения, предпринятой год спустя, Герцен вспоминал в сопровождении следующей сентенции:

«Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, то есть когда личное озлобление прошло или мнения сблизилась и люди сами видят, что не из чего ссориться. [...] Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением» (IX, 166).

Там, где дружат идеями, из-за идей и расходятся, не имея возможности ухватиться за то, что держит остальных: общность дел, знакомств, родство и свойство, житейское обыкновение. Люди, оказавшиеся вместе лишь потому, что они разделяют одни и те же идеи, обречены либо до конца держаться за неизменность этих идей, оберегать их от всякого пересмотра или выяснения деталей, которые можно понять различно, либо вынуждены разойтись, если их идеи пойдут розно:

«Если бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?..» (IX, 212).

В 1847 г., когда Герцен уезжал на Запад, и от западнического круга мало что осталось, споры о бессмертии души остались здесь, за границей, и к последнему году в России Герцен вновь был по-настоящему близок только с Огаревым. Он уезжал, уже внутренне готовый разочароваться: в «воображаемый Запад» было вложено столько надежд, что любая реальность не могла бы их удовлетворить. Уже в 1860-е Герцен писал, что в московский период любил Запад книжно, а «еще больше я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником*» (XVIII, 278).

Но помимо этого был и еще один сильный мотив к разочарованию. Белинский мог спокойно существовать, не испытав ничего подобного герценовскому пересмотру идей, в Европу он, правда, попал почти одновременно с Герценом, но, в отличие от последнего, европейские страны и их быт его интересовали мало, и в Париже он оставался целиком погруженным в русские споры. Он был болен, чувствовал, что умирает, – он жил остатками жизни, тогда как Герцен, на удивление, сознавал себя молодым, все еще готовился жить. Пора подведения итогов, заката для него наступит позже, после гибели матери и сына, смерти жены, – тогда, в 1852 г., он будет считать, что все закончилось и для него, и для Европы¹⁰, в этом случае особенно заметно расхождение времени большой истории, для которой «Герцен» только по существу и появится в эти годы, и времени личного, для которого почти все эти годы, с

¹⁰ «Знаменательно, – пишет Л.И. Чуковская, – что как раз тот отдел пятой части [„Былого и дум“,] который посвящен перипетиям семейной драмы, открывается главой, носящей название драмы исторической: „1848“» [Чуковская А.И. Избранное. – М.: Время, 2011. С. 18], и чуть ранее отмечает: «В „Былом и думках“ жизнь Герцена осмыслена, пережита и воспроизведена в [...] органическом слиянии с жизнью общественной [...]» [там же. С. 14], когда характеристики последней объясняют первую и наоборот – не в смысле «влияния на историю», а как жизнь «человека исторического».

1852-го по 1868-й, пройдут в написании, переписывании, компановке воспоминаний, Герцен будет жить теперь обращенным в прошлое, с тем, правда, как это и свойственно историзму, чтобы из прошлого не столько объяснить настоящее, сколько предугадать будущее.

В отличие от Белинского, Герцен довольно быстро вошел в европейский контекст – он перестал быть наблюдателем, а стал деятелем, сблизился с Гервегом, Прудоном, Мишле, Кине, стал частью «международной демократии», но для этого, если он желал не просто примкнуть к какому-то другому движению, стать как Рудин персонажем чужой революции¹¹, а иметь свое собственное дело, то им могло стать только русское. Как и многие после него, Герцен в Европе внезапно осознал, что можно быть французом, англичанином, итальянцем, немцем или бельгийцем, но нельзя быть просто «европейцем» – быть таковым можно было только в России, но не в Европе. Вопрос, стоявший перед Герценом еще в период его московских споров и в новом ракурсе представший перед ним на Западе, – об исторических судьбах России, о том, какое место ей суждено занимать в мире.

Европа, которую увидел Герцен, оказалась не только миром торжествующего мещанства – но и миром, в котором он не увидел никакого другого имеющего шансы осуществиться идеала, кроме мещанского. Работник, восстающий против существующего порядка, в конце концов предстал ему как мечтающий стать тем же самым буржуа – их спор оказался не спором о желаемом, а лишь раздором между теми, кто уже обладает и не желает уступать своего положения, и теми, кто не обладает, но надеется обладать. Впрочем, в своих оценках Герцен был непостоянен – то он готов был разглядеть обещание иного, лучшего в европейской жизни, то вновь склонялся к пессимизму, из общего приговора он с охотой исключал Италию, делал многочисленные оговорки об Англии, так что оставались, по существу, под именем «Европы» Франция и Германия, а учитывая, что немецкой жизни Герцен не знал и не любил, для него, не составлявшего здесь исключения, «Европа» оказывалась практически синонимичной Франции.

Здесь вновь необходимо напомнить, что Герцен был и оставался русским баринком – независимо от своих сознательных взглядов, он впитал все привычки московского быта. Одна даже форма его эмигрантской публицистики несет явные следы своего происхождения: он любил обращать свои передовые статьи и размышления в «письма» – «письма к противнику», «письма к будущему другу», «письма к старому товарищу», многочисленные публичные письма к государю императору Александру Николаевичу. Константин Леонтьев, в советской историографии традиционно (и нельзя сказать, чтобы не заслуженно) носивший имя реакционера, закономерно симпатизировал публицистике Герцена – крайности сходились в том, что одинаково отвергали существующий порядок вещей и то ближайшее будущее, которое он обещает. Герцен надеялся убежать от него в «другое будущее», оттого неизменно и настойчиво подчеркивая неопределенность истории, не жесткую детерминированность ее путей, зависящих от человеческого решения, консерватор надеялся замедлить ход событий, реакционер – повернуть историю вспять в конце концов для того, чтобы найти там другое начало.

¹¹ См.: Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. – М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. С. 61–63. Мемуаристика дает яркое описание участия в римских событиях 1848 г., несения итальянского знамени: «Когда волонтеры стали собираться в Милан, устроилась огромная демонстрация, которая, направляясь из Корсо в Колизей, по дороге остановилась перед церковью, где происходило богослужение, и просила священника благословить итальянское знамя, отправлявшееся в Ломбардию. Часть нас вошла в церковь, где все встали на колени; мы не знали, что нам делать, и стояли как посторонние; тогда к нам подошел один из революционных начальников или руководителей демонстрации и попросил нас встать тоже на колени, чтобы не оскорблять религиозного чувства толпы. Когда мы вышли из церкви, один из них вручил мне знамя, прося меня нести его перед народом. Я пошла впереди нашей длинной колонны, держа тяжелое знамя обеими руками; остальные женщины шли около меня. [...] В это время ко мне подошла молодая итальянка, незадолго присоединившая к нам. – Я не сомневаюсь, что вы итальянка, – сказала она, – но я из самого Рима, а потому я думаю, что мне следует нести это знамя. Я наклонила голову в знак согласия и молча передала ей знамя, хотя мне было очень грустно с ним расставаться: я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом».

Отвращение к мещанству, «торжествующему порядку», не стало для Герцена поворотом к консерватизму хотя бы потому, что у него изначально не было ничего, что сохранять, — он был юридическим наследником, но незаконнорожденным сыном, он был русским барин по образу жизни, по привычкам, но при этом «не вполне своим», занять свое место с самого начала означало для него это место создать. Но создавать он хотел именно «свое»: в отличие от многих современников, он не верил в железные законы исторической необходимости, потому не уверял, но питал надежду на возможность для России сказать свое слово в мировой истории, решить те вопросы, которые Европа не могла решить, здесь сближаясь не столько со славянофилами, сколько с Чаадаевым, писавшим в «Апологии сумасшедшего» (1837):

«Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый новый день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым.

Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен [...]. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли. Будем помнить, что для нас не существует непреложной необходимости, что благодаря небу мы не стоим на крутой покатоности, увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую новую идею, задевающую наш разум; что нам позволено надеяться на благоденствие еще более широкое, чем то, о котором мечтают самые пылкие служители прогресса [...]»¹².

Но если чаадаевская свобода — это свобода от прошлого, свобода «чистого листа»¹³, то Герцен, надеясь на великое будущее, одновременно укореняет его в прошлом, в особенностях русского социального строя, в русской общине, перенимая славянофильский взгляд и вместе с тем лишая его религиозной составляющей. Прошлое России дает ей возможность иного, чем у Европы, будущего, более того, дает ей возможность стать освободительницей человечества, найдя решение социального вопроса. Разумеется, между славянофилами и Герценом останется пропасть — атеизм был для него критерием интеллектуальной зрелости и интеллектуальной честности, способности смотреть на мир, воспринимая его таким, как он есть, не теша себя иллюзиями и не вводя в заблуждение других. Его историческое видение целиком построено на возможностях и вероятностях, он не отрицает конечное торжество мещанства, он только не готов отказать себе в праве осуждать его — финал истории может быть отвратителен, но зритель вправе освидетельствовать представление.

В свою очередь менялись и славянофилы — возможность общественной деятельности, открывшаяся на исходе Крымской войны, побуждала их, как и Герцена, не к пересмотру взглядов, но к отказу от ригоризма, к поиску союзников. Быть согласным в одном теперь не подразумевало требования быть согласным и во всем прочем, потребность действовать значила искать соглашения по конкретным вопросам, согласие видеть Россию предназначенной или способной пойти своим собственным историческим путем теперь оказывалось само по

¹² Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 1. — М.: Наука, 1991. С. 535.

¹³ «Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться, как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление». [Там же. С. 527.]

себе ценным признанием – если до того важнейшим было стремление сохранить чистоту рядов, быть в кругу хоть малой, но верной общины единомышленников, то теперь много значила способность привлечь других – полусогласных, попутчиков, симпатизантов¹⁴.

Разведет окончательно Герцена и славянофилов отнюдь не разница в понимании философии истории или в (анти-) религиозных убеждениях, а польское восстание 1863 г. Впрочем, и здесь все далеко от однозначности – так, братья Елагины (по матери приходившиеся братьями Петру и Ивану Киреевским) решительно выступили против военного подавления польского восстания, да и позиция Ивана Аксакова была длительное время далека от определенности, он пытался одновременно осудить восставших и отмежеваться от правительства, найти некий «третий путь». Однако в конечном счете ведущие представители славянофильства, такие как Аксаков и Самарин, деятельно поддержали правительство – для них оказалось невозможным противопоставить «страну» и «государство», последнее при всех своих недостатках понималось как историческая форма народа, а польское восстание – как попытка не освободить польский народ, а восстановить польскую государственность, обеспечивающую польское господство над Белоруссией и Украиной. Если Герцен фактически воспроизводил лозунг «*Za naszą i waszą wolność*» («За нашу и вашу свободу»)¹⁵; то для его славянофильских оппонентов речь шла о том, что под требованием «свободы» скрывалось притязание на господство.

Для Герцена 1863 год явился тяжелейшим испытанием – он с предельной ясностью обнаружил, что русское общественное мнение отвернулось от него. На протяжении всех первых месяцев восстания он призывает голоса из России, надеется, что поддержка, полученная правительством, лишь показная, увещевает тех, кто, как он думает, молчит из страха заговорить:

«Прежде по крайней мере, засекая целые деревни для аракчеевских поселений, умиряя крестьян от Пугачева до Бездны, офицеры молчали – может, они не понимали, что делали. Теперь и этого оправдания нет. Они идут с полным сознанием, они подписывают адреса добровольной преданности.

И все это падает на народ. Его обвинят в племенной ненависти, в алчной стяжательности, его обвинят в том, что для него дороже воли сила, что, упоенный своей гордыней, он готов быть рабом для того, чтоб покичиться тем, что может в цепи ковать других... Что же после этого может быть естественнее, как ненависть к такому народу всех остальных?

... Если б мы верили, что русский народ в своем азиатском раболепии любит господство над другими народами, и в силу этого выносит рабство, и в силу этого станет теперь за правительство, против Польши, нам осталось бы только желать, чтоб Россия как государство была унижена, обесславлена, разбита на части; желать, чтоб оскорбленный и попраный народ русский начал новую жизнь, для которой память прошедшего была бы угрызением совести и грозным уроком.

¹⁴ См. подробнее обзор: *Тесля А.А.* Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. – 2012. – Т. 12, № 1. – С. 62–85.

¹⁵ В первые месяцы восстания Герцен писал: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. Мы с ними, потому что твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести блага народам, которых ведет на смычке Петербург. Всемирные монархии Чингизов и Тамерланов принадлежат к самым начальным и самым диким периодам развития – к тем временам, когда сила и обширность составляют всю славу государства. Они только возможны с безвыходным рабством внизу и неограниченным тиранством наверху. Была ли нужна или нет наша имперская формация, нам на сию минуту дела нет – она факт. Но она сделала свое время и занесла одну ногу в гроб – это тоже факт. Мы стараемся от всей души помочь другой ноге. Да, мы против империи, потому что мы за народ!» (XVII, 91).

Но не будем клеветать на него: нет доказательств, что он за эти злодейства» (XVII, 42).

И вновь:

«Было время, в которое высоко ценилась тихая слеза сочувствия, рукопожатье и шепотом сказанное слово участия с глазу на глаз.

Этого мало теперь.

Тогда все молчало. Власть молча продавливала грудь, молча ехали кибитки, молча плелись ссыльные, молча смотрели им вслед оставшиеся. Говорить было трудно, что-то не понималось, не было ясно; мы ни себя, ни народа порядком не знали... был общий катехизис, очищавший нас, но далекий от приложения. [...] Перед говорящим молчит раб. Слово ровно принадлежит мне *и ему*. Слово принадлежит всякому, слово – начало свободы. Говорите же, говорите, потому что вам молчать нельзя. От вас ждут речи!» (XVII, 66–67).

В скором времени Герцену пришлось убедиться в истинном, непоказном характере этой поддержки. Спустя несколько месяцев он писал:

«Нам не приходится роптать, а с сокрушенным сердцем подумать о самих себе. Всего больше виноваты люди, страстно желавшие блага русскому народу, любившие его темным инстинктом и пророческой мыслью, магнетизмом и пониманьем, чувствовавшие, что время настает, и не умевшие ничего сделать вовремя.

Что винить правительство за то, что оно защищает себя всем чем ни попало! Да и виновато ли оно в том, что при первом едва-едва освобожденном слове литература его продала; виновато ли оно, что, пересаживая науку с короткой цепи на длинную, правительство с удивлением нашло новую полицию в университетах и гласное III отделение в журналах? Мы должны себя винить» (XVII, 168).

Иван Аксаков со своей стороны противопоставлял Герцена Бакунину и под псевдонимом Касьянов писал «из Парижа»¹⁶:

«Но кого мне искренно жаль, так это Герцена. Вы знаете резкую противоположность наших основных воззрений, вы знаете, как я смотрю на „Колокол“ но тем не менее я многое прощал этому человеку ради высокой искренности его убеждений и всегдашней готовности отречься от своего взгляда, если он убеждался в его ошибочности. Мне случилось его видеть вскоре после Восточной войны, и он рассказывал мне, какой мучительный год он прожил один в Англии, вдали от России, осажденный со всех сторон сильнейшим неприятелем, с каким лихорадочным трепетом брался он каждое утро за газеты, боясь прочесть в них известие о взятии Севастополя, как гордился его мужественной обороной. Когда я упрекал его за вредное влияние на русскую молодежь, в которой его сочинения развивают кровожадные революционные инстинкты, и указал на одну фразу его статьи в „Полярной Звезде“ Герцен оправдывался с жаром, отклонял от себя упрек в кровожадности, старался дать иное толкование своей фразе и

¹⁶ День. 1863, № 19 от 11 мая.

положительно уверял, что не принимал ни малейшего участия в воззваниях к раскольникам, незадолго перед тем перехваченных в России»¹⁷.

Последующие годы стали годами упадка, сомнений, попыток разобраться с происшедшим и вновь овладеть общественным мнением, конфликтов с «молодой эмиграцией», не признававшей его авторитета, но пытавшейся использовать последний, разочарования, – и перед смертью попыток образумить двух своих старейших товарищей, Огарева и Бакунина, привить должное сомнение и здравый смысл к революционному энтузиазму, радикализму ниспровержения, т. е. выступить в той самой роли, в какой старые московские друзья старались вразумить на свой лад Герцена за десять с небольшим лет до того.

* * *

Особое место Герцена в истории, начатой спором западников и славянофилов, заключалось в первом варианте синтеза этих двух видений русской истории и места России в мире, сохранявшим универсализм и в то же время утверждавшим историческое своеобразие, вбирающем русскую историю не как бесплодный перечень ошибок и уклонений, не как историю отставания и попыток догнать, воссоединиться с мировой историей, но как хранение начал, которые могут стать новым принципом, новой идеей, способной обогатить человеческое общежитие. Он предложил атеистический и антигосударственный политический проект, который давал интеллигенции не только роль агентов модернизации в пространстве Империи, но и основание для голоса во внешнем мире, не только учеников вовне и учителей внутри, но имеющих право на свой собственный голос в сообществе народов, причем говорящий от лица справедливости. Уникальность Герцена или, возможно, уникальность его исторического момента в том, что справедливости политическая, социальная и личная, индивидуальная оказывались не конфликтующими друг с другом.

Андрей Тесля

¹⁷ Аксаков И.С. Сочинения. Т. II: Славянофильство и западничество. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891. С. 113.

А. И. Герцен **«Наши» и «не наши» письма русского (сборник)**

Главы из «Былого и дум» (1858) **Часть IV**

Глава XXIX **Наши**

I

Московский круг. – Застольная беседа. – Западники (Боткин, Редкий, Крюков, Е. К<орш>)

Поездкой в Покровское и тихим летом, проведенным там, начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда.

Судорожно натянутые нервы в Петербурге и Новгороде – отдали, внутренние непогоды улеглись. Мучительные разборки нас самих и друг друга, эти ненужные разберезивания словами недавних ран, эти беспрерывные возвращения к одним и тем же наболевшим предметам миновали; а потрясенная вера в нашу непогрешительность придавала больше серьезный и истинный характер нашей жизни. Моя статья «По поводу одной драмы» была заключительным словом прожитой болезни.

С внешней стороны теснил только полицейский надзор; не могу сказать, чтоб он был очень докучлив, но неприятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой квартального, очень противно.

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский – ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был согласнее в мнениях, но с ним я был ближе – там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обзорах и журналах, кто изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уж очень не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет; мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь с тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках лите-

ратурного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его *suffisance*¹⁸ нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии — *он линяет*. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменяла его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместно с нашим характером — и слава богу!

Распушенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитания, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей: не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так на Западе.

С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противоречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и непроизвольном непонимании так и стучишь головой о предел мира заверщенного.

Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед; мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее тою *composite*¹⁹ артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.

С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

Наш небольшой кружок собирался часто, то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попало бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходов не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более чем с любовью — чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана, мы не плакали о грехах мира сего — мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы *кой на что*, не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен.

¹⁸ Самонадеянность (франц.). — Примеч. ред.

¹⁹ Здесь: сплоченностью (франц.). — Примеч. ред.

Ты прав, мой друг, ты прав...

Да, ты прав, Боткин – и гораздо больше Платона, – ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти пантеистическое наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку.

Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр, *soberana pantorrilla*!

Ведь вот и Р<едкин> был в Испании, но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для «юридыческих» комментариев к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барселоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, т. е. ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал посматривать на его больную ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что «радикальный юрист» зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую.

– Что за неуважение к науке! Ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю, – говорит строга Р<едкин> и вовсе не сердится.

Это ввв-сёмо-о-жетбыть, – замечает, заикаясь, Е. К<орш>, – но отчего же ты себя до того идентифицировал²⁰ с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?

– Ну, пошло, теперь не кончится, – прибавляет Р<едкин> и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпaeмый слегка остротами Крюкова – с изящной античной отделкой по классическим образцам.

Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину, *ее объясняет* сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один К<етчер>, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать их; они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды; на минуту я забыл и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю, – давно ли перед всеми было так много, так много дороги!..

...И вот перед моими глазами встают наши Лазари, но не с облаком смерти, а моложе, полные сил. Один из них угас, как Станкевич, вдали от родины – И. П. Галахов.

Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. К<орш>а остроты и шутки искрились, как шипучее вино, от избытка сил. Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию, но без большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галахов очень рано попал в Измайловский полк и так же рано оставил его и тогда уже принялся себя воспитывать в самом деле. Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить *истину*, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни. Он не обращал внимания, так, как это делает большая часть французов, на то, что *истина* только дается

²⁰ Отождествил, от *identifier* (франц.). – Примеч. ред.

методе, да и то остается неотъемлемой от нее; истина же как результат – битая фраза, общее место. Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины успокоительной, оттого и неудивительно, что *она* ускользала от его капризного преследования. Он досадовал и сердился. Людям этого слоя не живется в отрицании, в разборе, им анатомия противна, они ищут готового, целого, созидającego. Что же Галахову мог дать наш век, и притом в николаевское царствование?

Он всюду бросался, постучался даже в католическую церковь, но живая душа его отпрянула от мрачного полусвета, от сырого, могильного, тюремного запаха ее безотрадных склепов. Оставив старый католицизм иезуитов и новый – Бюше, он принялся было за философию; ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме.

Готовая организация, обязательный строй и долею казарменный порядок фаланстера, если не находят сочувствия в людях критики, то, без сомнения, сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина, как кормилица, взяла их на руки и убаюкала. Фурьеризм имел определенную цель: труд, и труд сообща. Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебание и нерешительность. Это повторяется в самых обыкновенных, ежедневных случаях. «Хотите вы сегодня в театр или за город?» – «Как вы хотите», – отвечает другой, и оба не знают, что делать, ожидая с нетерпением, чтоб какое-нибудь обстоятельство решило за них, куда идти и куда нет. На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигиальная, икарийская лавра. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились наконец из сил, сомнения начали одолеваться ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое, конечно, не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев.

Галахов был слишком развит и независим, чтоб совсем исчезнуть в фурьеризме, но на несколько лет он его увлек. Когда я с ним встретился в 1847 в Париже, он к фаланге питал скорее ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой долго жили, к дому, в котором провели несколько спокойных лет, чем ту, которую верующие имеют к церкви.

В Париже Галахов был еще оригинальнее и милее, чем в Москве. Его аристократическая натура, его благородные, рыцарские понятия были оскорбляемы на каждом шагу; он смотрел с тем отвращением, с которым гадливые люди смотрят на что-нибудь сальное – на мещанство, окружавшее его там. Ни французы, ни немцы его не надули, и он смотрел несколько свысока на многих из тогдашних героев, чрезвычайно просто указывая их мелочную ничтожность, денежные виды и наглую самолюбие. В его пренебрежении к этим людям проявлялось даже национальное высокомерие, совершенно чуждое ему. Говоря, например, об одном человеке, который ему очень не нравился, он сжал в одном слове «немец!» выражением, улыбкой и прищуриванием глаз целую биографию, целую физиологию, целый ряд мелких, грубых, неуклюжих недостатков, специально принадлежащих германскому племени.

Как все нервные люди, Галахов был очень неровен, иногда молчалив, задумчив, но *par saccades*²¹ говорил много, с жаром, увлекал вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морил со смеху неожиданной капризностью формы и резкой верностью картин, которые делал в два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передам, как сумею, один из его рассказов, и то в небольшом отрывке. Речь как-то шла в Париже о том неприятном чувстве, с которым

²¹ Временами (франц.). – Примеч. ред.

мы переезжаем нашу границу. Галахов стал нам рассказывать, как он ездил в последний раз в свое имение, – это был *chef d’oeuvre*.

«...Подъезжаю к границе; дождь, слякоть, через дорогу бревно, выкрашенное черной и белой краской; ждем, не пропускают. Смотрю, с той стороны наезжает на нас казак с пикой, верхом:

– Пожалуйста паспорт.

Я ему отдал и говорю:

– Я, братец, с тобой пойду в караульню, здесь очень дождь мочит.

– Никак нельзя-с.

– Отчего?

– Извольте обождать.

Я повернул в австрийскую кордегардию, не тут-то было: очутился как из-под земли другой казак с китайской рожей:

– Никак нельзя-с!

– Что случилось?

– Извольте обождать!

А дождь все сечет, сечет... Вдруг из караульни кричит унтер-офицер: „Подвысь!“ Цепи загремели, и полосатая гильотина стала подыматься; мы подъехали под нее, цепи опять загремели, и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! В караульне какой-то кантонист прописывает паспорт.

– Это вы сами и есть? – спрашивает; я ему тотчас – цванцигер²².

Тут взошел унтер-офицер; тот ничего не говорит, ну, а я поскорее и ему – цванцигер.

– Все в исправности, извольте отправляться в таможню.

Я сел, еду... только все кажется – за нами погоня. Оглядываюсь – казак с пикой трях-трях...

– Что ты, братец?

– В таможню ваше благородие конвоирую.

На таможне чиновник в очках книжки осматривает. Я ему – талер и говорю:

– Не беспокойтесь, это все такие книги, ученые, медицинские!

– Помилуйте, что это-с! Эй, сторож, запирай чемодан!

Я – опять цванцигер.

Выпустили наконец; я нанял тройку, едем бесконечными полями; вдруг зарделось что-то, больше да больше... зарево.

– Смотри-ка, – говорю я ямщику, – а? несчастье.

– Ничего-с, – отвечает он, – должно быть, избенка какая или овин какой горит; ну, ну, пошевеливай, знай!

Часа через два с другой стороны красное небо, – я уж и не спрашиваю, успокоенный тем, что это избенка или овинишко горит.

...В Москву я из деревни приехал в Великий пост; снег почти сошел, полозья режут по камням, фонари тускло отсвечиваются в темных лужах, и пристяжная бросает прямо в лицо мороженую грязь огромными кусками. А ведь престранное дело: в Москве только что весна установится, дней пять пройдут сухих, и вместо грязи какие-то облака пыли летят в глаза, першит, и полицмейстер, стоя озабоченно на дрожках, показывает с неудовольствием на пыль, а полицейские суетятся и посыпают каким-то толченым кирпичом от *пыли*!»

Иван Павлович был чрезвычайно рассеян, и его рассеянность была таким же милым недостатком в нем, как заикание у Е. К<орша>; иногда он немного сердился, но большей частью сам смеялся над оригинальными ошибками, в которые он беспрестанно попадал.

²² Здесь: двадцать крейцеров (нем. *Zwanziger*). – Примеч. ред.

Х<оврина> звала его раз на вечер, Галахов поехал с нами слушать «Линду ди Шамуни»; после оперы он заехал к Шевалье и, просидев там часа полтора, поехал домой, переоделся и отправился к Х<овриной>. В передней горела свеча, валялись какие-то пожитки. Он в залу – никого нет; он в гостиную – там застал он мужа Х<овриной> в дорожном платье, только что приехавшего из Пензы. Тот смотрит на него с удивлением. Галахов осведомляется о пути и спокойно садится в креслы. Х<оврин> говорит, что дороги скверны и что он очень устал.

– А где же Марья Дмитриевна? – спрашивает Галахов.

– Давно спит.

– Как спит? Да разве так поздно? – спрашивает он, начиная догадываться.

– Четыре часа! – отвечает Х<оврин>.

– Четыре часа! – повторяет Галахов. – Извините, я только хотел вас поздравить с приездом.

Другой раз, у них же, он приехал на званный вечер; все были во фраках, и дамы одеты. Галахова не звали или он забыл, но он явился в пальто²³; посидел, взял свечу, закурил сигару, говорил, никак не замечая ни гостей, ни костюмов. Часа через два он меня спросил:

– Ты куда-нибудь едешь?

– Нет.

– Да ты во фраке?

Я расхохотался.

– Фу, вздор какой! – пробормотал Галахов, схватил шляпу и уехал.

Когда моему сыну было лет пять, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял, постоял, покраснел и с ревом бросился назад.

– Что с тобой, что с тобой? – спрашивали мы все.

Заливаясь горькими слезами, он только повторял:

– Там чужой мальчик, его не надо, его не надо!

В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, alter ego²⁴ и сильно огорчился этим; но сильнее его огорчился сам Галахов; он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом.

В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову, он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки.

С его могилы перехожу на другую, больше дорогую и больше свежую.

²³ Сюртуке (франц. paletot). – Примеч. ред.

²⁴ Второе я (лат.). – Примеч. ред.

II

На могиле друга

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

...В 1840 году, бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на жительство в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых *строй* некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь», – думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молча-

ние; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений от 1848 года до смерти Николая сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в «гневе своем чувствуют вполне свою жизнь», как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать «по подряду» журнальные статьи. Он и друг его Е. К<орш>, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское «Библиотеки для чтения».

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем, это – важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в годах... и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга; для деятельной любви различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением? Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал

пропаганду. А Станкевич привил ему поэтически и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом... Ну, а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский? Неужели они не лучше поняли хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его *левых и правых* последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какую дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру, Станкевич – в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскоре после его женитьбы. Гармония, окружавшая плавно и покойно его новый быт, подернулась траурным крепом. Следы этого удара долго не проходили; не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами, и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу.

Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитора.

Они мне казались братом и сестрой, тем больше что у них не было детей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... В эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил; он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 года. С благочестием и гордостью повторяю я их:

«На дружбу мою к вам двум (т. е. к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа. Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего „Крупова“? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: „Не полагай ничего на личное, верь в одно общее“, а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках...

В конце 1843 года я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке», успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с «Отечественными записками» из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

– Лекции Грановского, – сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, – *имеют историческое значение*.

Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свиданья, встречи beau mond'²⁵. Для этого он не нарядил историю в кружева и блонды, совсем напротив – его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходилась к рукам не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française ставящих огромные точки на крошечные *i* вроде нравоучений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил *ими* так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с покрасневшими щеками, кричавших сквозь слезы «браво! браво!». Выйти не было возможности; Грановский, бледный как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице – в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался, измученный, в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета – и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

...Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу римскому отроку-сыну за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного мальчишки!

²⁵ Высшего света (франц.). – Примеч. ред.

Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими – в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями и широкоплечий *porolano*²⁶, и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко страдавшего человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого; зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти. Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне подали письмо. Я прочитал его идучи и истинно – сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрел на все и думал: «Да это вздор! Как? Этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами, – его будто нет?..» Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А. Таландые; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне *нужно* было знать, что там – вдали, на нашей родине, – *живет* этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу? Она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни, как другая, не совсем чуждая ему могила, на *которой я был!*

Там перечту я строки грустного примирения, которые так близки мне, что я их выпросил в дар *нашим* воспоминаниям.

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой...
Средь урн надгробных и камней
Свежа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоих учеников
На ней рассыпаны лежали
Венки из листьев и цветов.
Над ней, суровым дням послушна, —
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главой,
И речка, берег омывая,
Волной бесследною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль нескончаемой стези.

Твоею дружбой не согрета,
Вдали шла долго жизнь моя,
И слов последнего привета

²⁶ Простолюдин (итал.). – Примеч. ред.

Из уст твоих не слышал я.

Размолвкой нашей недовольный,
Ты, может, глубоко скорбел;
Обиды горькой, но невольной
Тебе простить я не успел.
Никто из нас не мог быть злобен,
Никто, тая строптивый нрав,
Был повиниться неспособен,
Но каждый думал, что он прав
И ехал я на примиренье,
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять...
Но было поздно...

В день унылый,
В глухую осень, одинок
Стоял я у твоей могилы
И все опомниться не мог.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взор потух, и навсегда?
Твой голос смолк среди недуга?
Меня отныне никогда
Ты в час свиданья не обнимешь,
Не молвишь в провод ничего?
Ты сердцем любящим не примешь
Признаний сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,
Как правды ужас ни таи! —
Шептали что-то непонятно
Уста холодные мои,
И дрожь по телу пробегала,
Мне кто-то говорил укор,
К груди рыданье подступало,
Мешался ум, мутился взор,
И кровь по жилам стыла, стыла...
Скорей на воздух! Дайте свет!
О! это страшно, страшно было,
Как сон гнетущий или бред...

Я пережил, — и вновь блуждает
Жизнь между дела и утех,
Но в сердце скорбь не заживает.
И слезы чуются сквозь смех.
В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу — и будто образ брата
У сердца смерть не отняла.

И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон;
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный,
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар...
Но снова в памяти унылой
Ряд урн надгробных и камней
И насыпь свежая могилы
В цветах и листьях, и над ней,
Дыханью осени послушна, —
Кладбища сторож вековой, —
Сосна качает равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берег омывая,
Бегут, спешат, не отдыхая.

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851 г.), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу — «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо мною лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше, — пишет он в 1850 году, — становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например лицей. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками Римской империи, которой недоставало только одного — наследственности!..

...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, — когда же развалится этот мир?..

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать — пусть выгонят сами.

...Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального».

Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (т. е. при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет: только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время – еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется».

Одно из последних писем он заключает так: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, а выхода нет *живому*».

Быстро на нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнью осматриваюсь назад, точно на поле сражения, – мертвые да изуродованные...

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности; это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми наоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них, с Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет тридцати пяти от роду. Эллинист Печерин побился, побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии. Р<едкин> постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами. Крылов – но довольно. *La toile! La toile!*²⁷

Глава XXX

Не наши

**Славянофилы и панславизм. – Хомяков,
Киреевские, К. Аксаков. – П. Я. Чаадаев.**

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *не одинакая*... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно*.

«Колокол», лист 90

(На смерть К. С. Аксакова)

²⁷ Занавес! Занавес! (франц.). – Примеч. ред.

I

Рядом с нашим кругом были наши противники, *nos amis les ennemis*²⁸, или, вернее, *nos ennemis les amis*²⁹ – московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно – этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но, принимая за серьезное их православие, но, видя их церковную нетерпимость в обе стороны – в сторону науки и в сторону раскола, – мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации.

Идея народности сама по себе идея консервативная, выгораживание своих прав, противоположение себя другому; в ней есть и юдаическое понятие о превосходстве племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность как знамя, как боевой крик только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства, со всеми их преувеличениями, исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам: в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят; они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противопоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого ученья было совершенно на месте; но если б у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм при появлении своем был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с Тейчтумом³⁰, шедшим на воскресение *счастливых* времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощ-

²⁸ Наши друзья-враги (*франц.*). – Примеч. ред.

²⁹ Наши враги-друзья (*франц.*). – Примеч. ред.

³⁰ Германизмом (*старонем. Teutschtum*). – Примеч. ред.

ряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался ту же, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию, существовал со времени обривания первой бороды Петром I.

Противодействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось – казенное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими *потешниками*, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации избыют всех немцев).

Все раскольники – славянофилы.

Все белое и черное духовенство – славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы: они, вообще, переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien ne, que la patrie est chere!³¹

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцузенный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лезть «Северной пчелы», с другой – в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую – Манчестером, Шебуева – Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды...

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, *изобретением* народного гимна по Себастиану Баху³² и Прокопием Ляпуновым – по Шиллеру³³.

³¹ Сколь дорога отчизна благородном сердцу! (франц.). – Примеч. ред.

³² Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King». <«Боже, храни короля» (англ.)> да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это – нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный корпуса жандармов полковником Львовым. Император Александр I был

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности*, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало – дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла».

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастьем. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния. Что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве, проездом, панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, больше чем свой – он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц, немец; я сбегаю его прирезать и сейчас возвращусь».

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в *тостах* партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении «Письма» Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно надобно было проснуться.

слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний номер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что, между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом, он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой – в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание – и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строганов, рассказывавший мне этот милый анекдот.

³³ Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то стерты, не нашли сил аплодировать.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнущей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza*³⁴.

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезать «Телескоп» — «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т. е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и *читал*. И это напечатано по-русски, неизвестным автором... Я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «Письмо» Витбергу, потом С<кворцову>, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России протрещала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что*. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разума, грозный урок, данный народам, до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было покаяние и обвинение; знать вперед, *чем* примириться, не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине — шутка, и искупление неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забытые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.

³⁴ Оставьте всякую надежду (*итал.*). — Примеч. ред.

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего* не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, т. е. выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению* — умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволия власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда вошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

— А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской *high life*³⁵. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и воплощенным *veto*, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать, его звать... и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди. Он, правда, по словам Пушкина,

в Риме был бы Врут, в Афинах — Периклес,
Но здесь, под гнетом власти царской,
Он только офицер гусарской...

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете в Старой Басманной толпились по понедельникам «тузы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем генералы, не

³⁵ Знати (англ.). — Примеч. ред.

понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними³⁶. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного; именно поэтому оно смахивает на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела. Государь находился тогда, помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости – отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаев не торопился в Россию; расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного преследования³⁷); около 1830 года он возвратился.

В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем «Письме» он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом; ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником «*Voix du Peuple*». В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не-религии и неведения, этой умеренной теологии образованных мещан, «атеизма, окруженного религиозными учреждениями».

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ста-

³⁶ Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами: – Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете? – Ах, это вы! – отвечал Чаадаев. – Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный? – Да, разве вы не знаете, что я морской министр? – Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли. – Не черти горшки обжигают, – отвечал несколько недовольный Меншиков. – Да разве на этом основании, – заключил Чаадаев. Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят. – Чем же? – спросил Чаадаев. – Помилуйте, одно чтение записок, дел. – И сенатор показал аршин от полу. – Да ведь вы их не читаете. – Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение. – Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, – заметил Чаадаев.

³⁷ Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.

вит мистическую формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Красинский, продолжающие быть месспанистами, то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько забыли; стоит вспомнить «Историю» Волабеля, «Письма» леди Морган, «Записки» Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властью, лукавый монархизм, с другой, целомудренно прикрывался листом хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в Средние века, в мистицизм – читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму своего века.

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, сгнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противоречий своим высшим единством, своей вечной фатаморганой, своим *urbi et orbi*³⁸ своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных годах.

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарения Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль alexсандровских времен – все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой шеей à l'enfant³⁹ или учившиеся по пансионам и лицам; были молодые литераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец, втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву; между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но заря не возшла, а возшел Николай на трон, и Пушкин пишет:

³⁸ Городу (т. е. Риму) и миру (лат.). – Примеч. ред.

³⁹ Как дети (франц.). – Примеч. ред.

Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
...Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиление вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена!

В мире не было ничего противоположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное, проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

«В Москве, – говаривал Чаадаев, – каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка – иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами*, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое»⁴⁰.

Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни – сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы – где же выход?»

«Его нет», – отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. «История других народов – повесть их освобождения. Русская история – развитие крепостного состояния и самодержавия». Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей, – *просвещенных* рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством, – пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь... Это почти значило «пора умереть», и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание *живой души* в народе, чутье их было пронительнее их разума. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, *не смертельная болезнь*. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа.

⁴⁰ «В дополнение к тому, – говорил он мне в присутствии Хомякова, – они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

«Выход за нами, – говорили славяне, – выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; *воротимся* к прежним нравам!»

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 термидору. Случившееся стоит писаного – его не вырубишь топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам?

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов: принимая *его совсем готовым*. Они полагали, что делить предрассудки народа значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе, великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству – другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли, в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться, все это далеко за *пределом* государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутен и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и *не могла иметь*. То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь *только* всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта – не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только *уцелели* под трудным историческим вырабатыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей, однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сель-

ская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, – все это краеугольные камни, на которых созиждется хранина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни – все же камни... и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно *социального*, оно невольно влечет к круговой поруке народов... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие – при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их *женственность*, недостаток самостоятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непонимания друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усваивающей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством – монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию *современного* европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота – великие *таланты* в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несет с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским тронem, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастье старших братьев. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм – выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм – военный стан, империя – война, император – военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома – внизу, на дне – и *там*, за Неманом.

Начавшаяся теперь война⁴¹ может иметь перемирие, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседлым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал – государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить *третью* личность, немую, без знамени, без имени, являю-

⁴¹ Писано во время Крымской войны.

щуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой – на Тихом океане.

Помирятся ли эти *трое*, померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца, одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений – это то, что *разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма*.

II

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр. и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы – за невозможностью политических – становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, *бывало*, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы слышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну *молодую* Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дождавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внуками, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла – без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и

тост, который все знали; где Р<едкин> выводил логически личного бога, *ad maiorena gloriam Hegeli*⁴²; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгризова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало.

Вообще, в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времён, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; ноне только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий – Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спуская рукава. Помещичья распушенность, признаться сказать, нам по душе; в ней есть своя ширь, которую мы не находим в мещанской жизни Запада. Подобострастный клиентизм, о котором говорит девица Уильмот в «Записках» Дашковой и который я сам еще застал, в тех кругах, о которых идет речь, не существовал. Хор этого общества был составлен из неслужащих помещиков или служащих не для себя, а для успокоения родственников, людей достаточных, из молодых литераторов и профессоров. В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведенных в косный порядок обычаев, которой нет в старой европейской жизни, и в то же время в нем сохранилась привитая нам воспитанием традиция западной вежливости, которая на Западе исчезает; она, с примесью славянского *laisser-aller*⁴³, а подчас и разгула, составляла особый русский характер *московского* общества, к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть *парижским*, и это хотение, наверное, осталось.

Мы Европу все еще знаем задним числом; нам все мерещатся те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь; когда приезд Давида Юма в Париж сделал эпоху и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень, Гримм, надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове времена вечеров барона Гольбаха и первого представления «Фигаро», когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтоб добиться места и увидеть революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале (граф Прованский, т. е. будущий Людовик XVIII, в роли Фигаро, Мария-Антуанетта – в роли Сусанны!).

*Tempi passati...*⁴⁴ Не только гостиные XVIII столетия не существуют – эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция, – но и таких гостиных больше нет, как бывали, например, у Стааль, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литературы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем; партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей.

Один из последних опытов «гостиной» в прежнем смысле слова не удался и потух вместе с хозяйкой. Дельфина Гэ истощала все свои таланты, блестящий ум на то, чтоб как-нибудь сохранить *приличный* мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг

⁴² К вящей славе Гегеля (лат.). – Примеч. ред.

⁴³ Разболтанности (франц.). – Примеч. ред.

⁴⁴ Давно минувшие времена (итал.). – Примеч. ред.

друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей?

Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантией с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая Каменного гостя ликвидации... Не легкая «козри»⁴⁵ нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в Первой империи, вытесняет искусство, лоретка – даму, биржевой игрок – литератора.

Это распадение общества не в одном Париже. Ж. Санд была живым средоточием всего своего соседства в Ноане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации, и, что всего важнее, тут была сама Ж. Санд. С 1852 года тон начал меняться, добродушные беришоны уже не приезжали затем, чтоб отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею, другие боялись доносов; непринужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать до того надоела, намучила Ж. Санд, что она решила прекратить свои ноанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля...

...Говорят, Москва, молодая Москва состарилась, не пережила Николая; что и университет ее измелывал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Английский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи кричат против освобождения и Ноздревы шумят за *естественные и неотъемлемые* права дворян. Может быть!.. Но не такова была Москва сороковых годов, и вот эта-то Москва и принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу – у Свербеева, в воскресенье – у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделаёт и как отделаёт его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неумоимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, – словом, кого за убеждение – убеждение прочь, кого за логику – логику прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретёр диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете – от казуистики

⁴⁵ Болтовня (франц. causerie). – Примеч. ред.

византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли у *него у самого* что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, *как казалось*, от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он, вообще, больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность – способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (т. е. даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и пр. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!

Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков шурил своей косою глазом, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.

– Знаете ли что, – сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, – не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, непрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

– Я вам и не говорил, – ответил я ему, – что я берусь это доказывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.

– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете принимать эти страшные результаты *свиристелей имманенции*, и в вашей душе ничего не возмущается?

– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

– Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!

– Докажите мне, что *не-наука* ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.

– Для этого надобно веру.

– Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».

Многие – и некогда я сам – думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал – это зависело от нерва, от склада ума, оттого, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, непрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это – теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение «Европеец». Две выпшедшие книжки были превосходны, при выходе второй «Европеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове – «Денница» была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг – он не вытерпел и уехал в деревню, затаив в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, развела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества – мистиком и православным.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:

– Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.

И он в самом деле потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг – Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетило несчастье, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающей от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на свя-

тую икону – тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... И я пал на колени и смиренно молился ей».

Петр Васильевич был еще неискоренимее и шел дальше в православном славянизме – натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию с наукой, западную цивилизацию – с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.

Их общее несчастье состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их – юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это закал, одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противодействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.

Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным «Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затаились, окруженные обществом без живых интересов, жалким, трусовым, подбострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печёрин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.

В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; докончив в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастью, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели, и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия – «Дмитрий Самозванец». Опять скука!

В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.

Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учителя, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевича круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.

Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное pytanie почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды, а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предвещает торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой – средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.

– Москва – столица русского народа, – говорил он, – а Петербург только резиденция императора.

– И заметьте, – отвечал я ему, – как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на *съезжу*, а в Петербурге сведут на *гауптвахту*.

«Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

– Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься.

Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!»

Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил.

Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре, – писал он мне из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал ли я его статью в „Москвитяине“? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Зато честили его и славяне. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, «радующемся при зрелище пожара».

Впрочем, «Москвитянин» выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но и отчасти *правительственной*. Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.

Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев – не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин – из ненависти к аристократии.

Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою страну, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, *может быть*, при Александре II⁴⁶. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку-царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью, нелепо и вредно.

Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?

Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски. Его шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызенные отметки и нежеванные мысли вдохновил меня как-то в старые годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Ведрина». Строгонов (попечитель), читая их, сказал:

– А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.

Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противоположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндаля, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.

Говоря о слоге этих сиямских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера – по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: «Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!»

Тем не меньше хотя и дурным слогом, но близнецы «Москвитянина» стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстанавливал против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному *порядку идей*, за которые Николай из *идеи порядка* ковал в цепи да посылал в Нерчинск.

Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен нена-

⁴⁶ Писано в 1855 году.

видеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю. «Меня обвиняют, – сказал Грановский, – в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции – так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилии *ы* вместо *е* и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим *sorgano*: «Он исе хорош, он исе русский». С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.

Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, т. е. когда личное озлобление прошло или мнения сблизилась и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, т. е. сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением.

С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!» Мы все понурили голову. Белинский был прав!

Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастию, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского – лжеучителем, растлевающим юношей, меня – слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех – изменниками отечеству. Конечно, он не называл нас по имени, – их добавляли чтецы, носившие с восхищением из залы в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами, резко клеймя злые нападки и называя «*не нашими*» разных славян, во Христе бозе нашем жандармствующих.

Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался, – все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастию, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.

Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти – это та, в которой он говорил о книге Мишле «Le Peuple» и о романе Ж. Санда «La Mare au Diable», потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса. Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваляя греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке пречистой девы», сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.

Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи, – выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.

Между тем, «каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться» хорошо издавать «Москвитянина», он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели «Москвитянина» вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились предложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.

Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь, конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену, они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять...» Где же лучше можно было взять редактора?

Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не мог ничего сделать. «Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неудача должен был сильно огорчить Киреевского.

После второго крушения «Москвитянина» он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.

На этот раз победителями вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда «Москвитянин» тонул и «Маяк» не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью «Отечественные записки», поставил на ноги их побочного сына и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие, в то время как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Так я оставил поле битвы и уехал из России. Обе стороны высказались еще раз⁴⁷ и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.

Умер Николай, новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усьобицы, мы протянули им руки, но где они? Ушли! И К. Аксаков ушел, и нет этих «противников, которые были ближе нам многих своих».

Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.

Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову:

«Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело*; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром

⁴⁷ Статья К. Кавелина в ответ Ю. Самарина. Об них в «Dévelop des idées révolut».

и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается *перелом русской мысли*. И когда *мы* это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *неодинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое – что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш – это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока –

Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen!⁴⁸

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили *горный дух*, остановивший наш бег, и они вместо мира мощей натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на понимание нет; время, история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они – в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»

Глава XXXII

Последняя поездка в Соколово. – Теоретический разрыв! – Натянутое положение. – Dahin! Dahin!⁴⁹

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло

⁴⁸ Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам! (нем.). – Примеч. ред.

⁴⁹ Туда! Туда! (нем.) – Примеч. ред.

из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда – я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам, и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем *нравились*.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Р<едкина>, старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Р<едкиным> у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния, и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Р<едкин> подошел к окну и опустил стору.

– Что же, от этого будет лучше? – спросил я его.

– Как же, – ответил за него Крюков, – Р<едкин> верит in die Persönlichkeit des absoluten Geistes⁵⁰ и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.

Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.

На одном листе записной книжки того времени, с видимой *arrière-pensée*⁵¹, помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена».

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.

Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука, если только человек вверится ей без якоря, непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий; оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.

Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули наконец из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р<едкина>, то в сущности все же они с ним согласнее, чем со мной, и что при всей независимости их мысли еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми: с Грановскими Е. К<оршем>.

Открытие это исполнило меня глубокой печалью; порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.

Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С.

⁵⁰ в личность абсолютного духа (нем.). – Примеч. ред.

⁵¹ Задней мыслью (франц.). – Примеч. ред.

Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы.

Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.

Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за «Отечественными записками». Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себя и стал с ним говорить об «Отечественных записках». Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.

Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.

– Что вы намерены делать после курса? – спросил я его раз.

– Постричься в священники, – отвечал он, краснея.

– Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

– Мне нет выбора: мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

– Вы не сердитесь на меня, – возразил я, – но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы несколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, – все это и, сверх того, искреннее участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:

– Перед вами лгать не стану – нет!

– Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против Святого Духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!

– Это ужасно! ужасно! – сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

– Я к вам пришел затем, – сказал он, – чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы: духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.

Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.

Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.

Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов.

Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти⁵².

С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, новое, сильное поколение.

Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его «романтизма». Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, не доставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и С<атина>.

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались... Что-то они... как?... С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к «Яру», где они остановились. Ну, вот они, наконец. И как переменились, и какая борода – и не видались несколько лет! – Мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец, наш маленький круг был почти весь в сборе – теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово – это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой – открывался пространный вид в даль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, «Бель-вью»⁵³.

Соколово некогда принадлежало графам Румянцовым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы по Москве-

⁵² История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить. На одном из этих праздников один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду, бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было начертано золотыми буквами: «Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа...», и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное имя государя императора. Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастье не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончать курс и приехать к ней. Начальник лицея, кажется генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дела до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, т. е. ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат, и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости божией, убившей во время его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете.

⁵³ Прекрасный вид (по-французски *belle vue*). – *Примеч. ред.*

реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. К<етчер> меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Е. приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. М. С. нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота...

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном: об отсутствии Огарева. Ну, вот и он – и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами; Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим, через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша *villeggiatura*⁵⁴ не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовить пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри – явится боль, диссонанс, с которым не всегдаладишь.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела – все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши Соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы (помнится, об *Энциклопедистах*) и был им чрезвычайно доволен.

– Да что же тебе нравится? – спросил я его. – Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

– Твои мнения, – ответил Грановский, – точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед; ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

– Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее *обязывает нас* к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

⁵⁴ Дачная жизнь (*итал.*). – Примеч. ред.

– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, слегка изменившись в лице, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

– Славно было бы жить на свете, – сказал я, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.

– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастья.

– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и, придавая себе вид постороннего, – вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

– Изволь, с величайшим удовольствием! – сказал я, чувствуя холод на лице.

Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего...

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа – предел и с тем вместе цензура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»

Огарев взял тройку и поехал в Москву. На дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф

...Ни скорбь, ни скука
Не утомит меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружнем круге.
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел, которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
.....
.....
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало – дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, не имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью...

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. К<оршу>. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. К<орша>, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой пре-

дел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет, и все это он говорил с дружбой, с деликатностью – видно было, что и ему не легко.

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили – ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего... а только все подернулось чем-то темным и матовым; неприужденность, полный abandon⁵⁵ исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, т. е. действительно отступили на «границу химического сродства», и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... может быть... но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество *религии* необходимо – тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше – можно быть хорошим и верным *союзником*, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они – меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает, мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать, и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решает один такт сердца, тут нет правил.

Вскоре и в дамском обществе все разладилось.

.....

На ту минуту нечего было делать.

Ехать, ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора и без разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.

Н.Х. Кетчер (1842–1847)

Мне приходится говорить о Кетчере опять, и на этот раз гораздо подробнее.

Возвратившись из ссылки, я застал его по-прежнему в Москве. Он, впрочем, до того сросся и сжился с Москвой, что я не могу себе представить Москву без него или его в каком-нибудь другом городе. Как-то он попробовал перебраться в Петербург, но не выдержал шести месяцев, бросил свое место и снова явился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова, проповедовать вольный образ мысли офицерам, играющим на бильярде, поучать актеров драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притеснения прежних друзей своих. Правда, теперь у него был и новый круг, т. е. круг Белинского, Бакунина; но хотя он их и поучал денно и ночью, но душою и сердцем все же держался нас.

⁵⁵ Откровенность (франц.). – Примеч. ред.

Ему было тогда лет под сорок, но он решительно остался старым студентом. Как это случилось? Это-то и надобно проследить.

Кетчер по всему принадлежит к тем странным личностям, которые развились на окраине петровской России, особенно после 1812 года, как ее последствие, как ее жертвы и косвенно как ее выход. Люди эти сорвались с общего пути – тяжелого и безобразного – и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом поиске останавливались. В этой пожертвованной шеренге черты очень розны: не все похожи на Онегина или на Печорина, не все – лишние и праздные люди, а есть люди трудившиеся и ни в чем не успевшие – люди неудавшиеся. Мне тысячу раз хотелось передать ряд своеобразных фигур, резких портретов, снятых с натуры, и я невольно останавливался, подавленный материалом. В них ничего нет стадного, рядского, чекан розный, одна общая связь связует их, или, лучше, одно *общее несчастье*; вглядываясь в темно-серый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же, бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны... словом, петербургская Россия. Ею они несчастны, и нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут: земли нет под ногами; хотят кричать – языка нет... да нет и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этом потерянном равновесии больше развивалось оригиналов и чудаков, чем практически полезных людей, чем неутомимых работников, что в их жизни было столько же неустроенного и безумного, как хорошего и чисто человеческого.

Отец Кетчера был инструментальный мастер. Он славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Он умер рано, оставив большую семью на руках вдовы и очень расстроенные дела. Происхождением он был, кажется, швед. Стало, об истинной связи с народом, о той непосредственной связи, которая всасывается с молоком, с первыми играми, даже в господском доме, не может быть и речи. Общество иностранных производителей, индустриалов, ремесленников и их хозяев составляет замкнутый круг, жизнь, привычками, интересами, всем на свете отделенный и от верхнего и от низшего русского слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнее и чище, чем дикая тирания и затворнический разврат нашего купечества, чем печальное и тяжелое пьянство мещан, чем узкая, грязная и основанная на воровстве жизнь чиновников, но тем не меньше она совершенно чуждая окружающему миру... иностранная... дающая с самого начала другой рН и другие основы.

Мать Кетчера была русская – вероятно, оттого Кетчер и не сделался иностранцем. В воспитание детей я не думаю, чтоб она входила, но чрезвычайно важно было то, что дети были крещены в православной вере, т. е. не имели никакой. Будь они лютеране или католики, они совсем бы отошли на немецкую сторону, они бы ходили в ту или другую кирху и вступили бы незаметно в выделяющуюся, обособляющуюся Gemeinde⁵⁶ с ее партиями, приходскими интересами. В русскую церковь, конечно, Кетчера никто не посылал; сверх того, если он иногда и хаживал ребенком, то она не имеет того паутиного свойства, как ее сестры, особенно на чужбине.

Надобно вспомнить, что время, о котором идет речь, вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, не защищались тогда чем ни попало, не ревновали о своих правах, может, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватали прохожих за ворот, сомневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик профессор Гейм, памятный лексиконами, с ужасом говорил в

⁵⁶ Общину (нем.). – Примеч. ред.

университетской «ауле»⁵⁷: «Es ist ein Ende mit der großen Hochschule Rutheniae»⁵⁸. Даже свирепая холера изуверства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (как всё у нас), Магницкого и Рунича, пронеслась зловредной тучей, побила народ, попавшийся на дороге, и исчезла, воплощаясь в разных Фотиев и графинь. В гимназиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с «закона божия».

Когда пришло время, Кетчер поступил в Медикохирургическую академию. Это было тоже чисто иностранное заведение и тоже не особенно православное. Там проповедовал Just-Christian Loder – друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этих людей наука была еще религией, пропагандой, войной, им самим свобода от теологических цепей была нова, они еще помнили борьбу, они верили в победу и гордились ею. Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису. Возле него стояли Фишер Вальдгеймский и оператор Гильтебрант, о которых я говорил в другом месте, и разные другие немецкие адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты. «Ни слова русского, ни русского лица». Все русское было отодвинуто на второй план. Одно исключение мы только и помним – это Дядьковский. Кетчер чтит его память – и он, вероятно, имел хорошее влияние на студентов; впрочем, медицинские факультеты и в позднейшее время жили не общей жизнью университетов: составленные из двух наций – немцев и семинаристов, – они занимались своим делом.

Этого дела показалось мало Кетчеру, и это – лучшее доказательство тому, что он не был немец и не искал прежде всего профессии.

Особенной симпатии к своему домашнему кругу он не мог иметь, с молодых лет любил он жить особняком. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Он принялся читать – и читать Шиллера.

Кетчер впоследствии перевел всего Шекспира, но Шиллера с себя стереть не мог.

Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты, – все это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлексией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился, он был удовлетворен: критика и скептицизм были для него совершенно чужды.

Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение, и нравственная жизнь его была окончательно решена. Все остальное проходило бесследно, мало занимало его. Девяностые годы – эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлексиями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста, – поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал Французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало.

Таким я его встретил в 1831 году у Пассека и таким оставил в 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель... не романтический, а, так сказать, этикополитический, вряд мог ли найти в тогдашней Медикохирургической академии ту среду, которую искал. Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его... Отходя от окружавших людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-

⁵⁷ Актовом зале, от aula (лат.). – Примеч. ред.

⁵⁸ «Пришел конец высшей школе в России» (нем.). – Примеч. ред.

то лафонтеновским «Зондерлингом»⁵⁹, каким-то «Робинсоном в Сокольниках». В небольшом саду их дома была беседка; туда перебрался «лекарь Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера», как в те времена острял Н. А. Полевой. В беседке дверь не имела замка... в ней было трудно повернуться. Это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру «Разбойников» и «Фиеско» и вместо молитвы на сон грядущий читал речи Мара и Робеспьера. Словом, если б он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал бы Руссо, чтоб был каждый.

С нами Кетчер сблизился через Вадима в 1831 году. В нашем кружке, состоявшем тогда, сверх нас двоих, из Сазонова, Сатина, старших Пассеков и еще двух-трех студентов, он увидел какой-то зачаток исполнения своих заветных мечтаний, новые всходы на плотно скошенной ниве в 1826 году и потому горячо к нам придвинулся. Постарше нас, он вскоре овладел «цензурой нравов» и не давал нам делать шагу без замечаний, а иногда и выговора. Мы верили, что он практический человек и опытный больше нас; сверх того, мы любили его, и очень. Занемогал ли кто, Кетчер являлся сестрой милосердия и не оставлял больного, пока тот оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и других, Кетчер первый пробрался к ним в казармы, развлекал их, делал им поручения и дошел до того, что жандармский генерал Лисовский его призывал и внушал ему быть осторожнее и вспомнить свое звание (штаб-лекаря!). Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали... Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его – отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару.

– Она не придет, – говорил Надеждин спростоня, – пойдемте спать.

Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, и ждала она час, другой... все тихо, она сама – еще тише – возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: «Он ее не любил!»

Участие Кетчера во время нашего тюремного заключения, во время моей женитьбы рассказано в других местах. Пять лет, которые он оставался почти один – 1834–1840 годы – из нашего круга в Москве, он с гордостью и доблестью представлял его, храня нашу традицию и не изменяя ни в чем ни йоты. Таким мы его и застали, кто в 1840-м, кто в 1842... в нас ссылка, столкновение с чуждым миром, чтение и работа изменили многое. Кетчер, неподвижный представитель наш, остался тот же. Только вместо Шиллера переводил Шекспира.

Одна из первых вещей, которой занялся Кетчер, чрезвычайно довольный, что старые друзья съезжались снова в Москву, состояла в возобновлении своей цензуры *morum*⁶⁰... и тут оказались первые шероховатости, которых он долго не замечал. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоедала. Прежняя жизнь кипела так быстро и шла так обще, что никто не обращал внимания на маленькие камешки по дороге. Время, как я сказал, изменило многое, личности развились резче, развились розно, и роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже чем смешна; все старались повернуть в смешное, покрыть его дружбой, его чистыми намерениями ненужную искренность и обличительную любовь,

⁵⁹ «Чудаком» (нем. Sonderling). – Примеч. ред.

⁶⁰ Нравов (лат.) – Примеч. ред.

и делали очень дурно. Да дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если б его останавливали с самого начала, не выросли бы те несчастные столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь в начале 1847 года.

Впрочем, новые друзья не совсем были так снисходительны, как мы, и сам Белинский, очень любивший его, выбившись иной раз из сил и столько же не терпевший несправедливости, как сам Кетчер, давал ему резкие уроки, на целые месяцы переставая с ним спорить. Холодным или равнодушным Кетчер никогда не бывал. Он был постоянно в пароксизме преследования или в припадке любви, быстро переходя из самого горячего друга в уголовного судью, из этого ясно, что он всего менее выносил холод и молчание.

Тотчас после ссоры или ряда крупных обвинений Кетчер развлекался, гнев проходил бесследно, вероятно, внутренне бывал он недоволен собой, но никогда не сознавался – напротив, он старался всему придать вид шутки и опять переходил за те пределы, за которыми шутка не веселит. Это было вечное повторение знаменитого «гусака» в примирении Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Кто не видал детей, которые, закусив удила, нервно не могут остановиться в какой-нибудь шалости; уверенность в том, что будет наказание, как будто усиливает искушение. Чувствуя, что успел снова поддразнить кого-нибудь до холодных и колких ответов, он окончательно возвращался в мрачное расположение духа, поднимал брови, ходил большими шагами по комнате, становился трагическим лицом из шиллеровских драм, присяжным из суда Фукье-Тенвиля, произносил свирепым голосом ряд обвинений на всех нас, – обвинений, не имевших ни малейшего основания, сам под конец убеждался в них и, подавленный горем, что его друзья такие мерзавцы, уходил угрюмо домой, оставляя нас ошеломленными, взбешенными до тех пор, пока гнев ложился на милость, и мы хохотали как сумасшедшие.

На другой день Кетчер с раннего утра, тихий и печальный, ходил из угла в угол, свирепо дымя трубкой и ожидая, чтоб кто-нибудь из нас приехал побранить его и помириться; мирился он, разумеется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательного, строгого дяди. Если же никто не являлся, то Кетчер, затаив в груди смертельный страх, шел печально в кофейную на Неглинной или в светлую, покойную гавань, в которой всегда встречал его добродушный смех и дружеский прием, т. е. отправлялся к М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая им, уляжется; он, разумеется, жаловался М. С. на нас; добрый старик мылил ему голову, говорил, что он порет дичь, что мы совсем не такие злодеи, как он говорит, и что он его сейчас повезет к нам. Мы знали, как Кетчер мучился после своих выходов, понимали или, лучше, прощали то чувство, почему он не говорил прямо и просто, что виноват, и стирали по первому слову дочиста следы размолвки. В наших уступках на первом плане участвовали дамы, становившиеся почти всегда его заступницами. Им нравилась его открытая простота (он и их не щадил), доходившая до грубости, как странность; видя их потворство, Кетчер убедился, что так и следует поступать, что это мило и что, сверх того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры в Покровском иногда бывали полнейшего комизма, а все-таки оставляли на целые дни длинную, серую тень.

– Отчего кофей так дурен? – спросил я у Матвея.

– Его не так варят, – отвечал Кетчер и предложил свою методику. Кофей вышел такой же.

– Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю, – заметил Кетчер и принялся за дело.

Кофей не поправлялся, я заметил это Кетчеру.

Кетчер попробовал и, уже несколько взволнованным голосом и устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил:

– Так, по-твоему, этот кофей не лучше?

– Нет.

– Однакож это удивительно, что ты в едакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения.

– Не я, а кофей.

– Это, наконец, из рук вон, что за несчастное самолюбие!

– Помилуй, да ведь не я варил кофей и не я делал кофейник...

– Знаю я тебя... лишь бы поставить на своем. Какое ничтожество – из-за поганого кофеля – адское самолюбие!

Больше он не мог; удрученный моим деспотизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исхививши верст двадцать; счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение; я, разумеется, не поминал о кофе и делал разные вежливости грибам.

На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился.

Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына.

Воспитание делая судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота – человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке – он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. «У меня, говорит, такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю... это предмет слишком близкий к сердцу».

Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе – обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия и твердо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из *искусственной* жизни и сознательно возратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался, как все, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противодействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым, педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастию, в деле воспитания, как во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.

Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле... прикладное было слишком близко. Мой сын – тогда ему было лет семь-восемь – был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему лечения и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя.

– Ты консерватор! – кричал он с неистовством, – ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барица и вместе с тем раба.

Ребенок шалил и кричал во время болезни матери, я останавливал его; сверх простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной «Жуковым»:

– Где твое право останавливать его крик – он должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!

Размолвки эти, как я ни брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если б это было, он больше всех был бы наказан и потому, что он все же был очень привязан ко всем, и потому, что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с *другим*, и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду, но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, поверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решенное – и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы *sommairement*⁶¹ сплеча, так или иначе – все равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.

При всем том серьезного отдаления до 1846 между нами не было. Natalie очень любила Кетчера, с ним неразрывна была память 9 мая 1838 года; она знала, что под его ежовыми колючками хранилась нежная дружба, и не хотела знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни. Ссора с Кетчером представлялась ей чем-то зловещим; ей казалось, если время может подпилить, и притом такой маленькой пилкой, одно из колец, так крепко державшихся во всю юность, то оно примется за другие – и вся цепь рассыпется. Среди суровых слов и жестких ответов я видел, как она бледнела и просила взглядом остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало Кетчера, но он употреблял гигантские усилия, чтоб показать, что ему, в сущности, все равно, что он готов примириться, но, пожалуй, будет продолжать ссору...

На этом можно было бы годы продлить странное, колебавшееся отношение карающей дружбы и дружбы уступающей... но новые обстоятельства, усложнившие жизнь Кетчера, повели дела круче.

У него был свой роман, странный, как всё в его жизни, и заставивший его быстро осесть в довольно топкой семейной сфере.

Жизнь Кетчера, сведенная на величайшую простоту, на элементарные потребности студентского бездомовья и кочевья по товарищам, вдруг изменилась. У него *в доме* явилась женщина, или, вернее, у него *явился дом*, потому что в нем была женщина. До тех пор никто не предполагал Кетчера семейным человеком, в своем *chez soi*⁶², – его, любившего до того все делать беспорядочно: ходя закусывать, курить между супом и говядиной, спать не на своей кровати, – что Конст. Аксаков замечал шутя, что «Кетчер отличается от людей тем, что люди обедают, а Кетчер ест», – у него-то вдруг ложе, свой очаг, своя крыша!

Случилось это вот как.

За несколько лет до того Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку; утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива,

⁶¹ В целом (франц.). – Примеч. ред.

⁶² Домашнем кругу (франц.). – Примеч. ред.

запугана, застенчива и жалка; ее существование никем не было замечено... ее никто *не жалел*... Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольниковский скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать, приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о ее печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первом она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова: за всеми шумами приятельских пиров, московских первых спектаклей и бажановской кофейной была пустота в его сердце, в которой он, конечно, не признался бы даже себе самому, но которая сказывалась. Бедный, невзрачный цветок сам собою падал на его грудь, и он принял его, не очень думая о последствиях и, вероятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

В лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального⁶³ ценза и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. С ними не женировались⁶⁴ мы все... и потому бросить камень вряд посмеет ли кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась Кетчеру. Недаром воспиталась она в раскольниковском скиту – она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтילה, чего боялась, чему повиновалась – Христос и Богородица, святые угодники и чудотворные иконы, – все это теперь было в Кетчере, в человеке, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это было вполупину скрыто, погребено... не смело обнаружиться.

...У ней родился ребенок; она была очень больна, ребенок умер... Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула... Кетчер стал холоднее к Серафиме, видался реже и наконец совсем оставил ее. Что это дикое дитя «не разлюбит его даром», можно было смело предсказать. Что же у ней оставалось на всем белом свете, кроме этой любви?... Разве броситься в Москву-реку. Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, несмотря ли на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтоб встретить его, проводить глазами и потом плакать, плакать целую ночь; большею частью она пряталась но иногда кланялась ему и заговаривала. Если он ласково отвечал, Серафима была счастлива и весело бежала домой. О своем же «несчастий», о своей любви она говорить стыдилась, и не смела. Так прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. В 1845-м Кетчер переселился в Петербург. Это было свыше сил. Не видать его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами, знать, что он за семьсот верст между чужими людьми, и не знать, здоров ли он и не случилось ли с ним какой беды, – этого вынести она не могла. Без всяких пособий и помощи, Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала месяцы, исчезла и добралась-таки до Петербурга. Там, усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтоб он не оттолкнул ее, чтоб он ее простил, что дальше ей ничего не нужно: она найдет себе угол, найдет черную работу, будет жить на хлебе и воде, лишь бы остаться в том городе, где он, и иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли: теперь она останется здесь у него, это будет ее дом, он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись: забыты холодные осенние ночи, забыт страшный путь и слезы ревности, и горькие рыдания; она с ним и уже наверное не расстанется больше... живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории, разве один Михаил Семенович; теперь скрыть ее было невозможно

⁶³ Избирательного, от *électoral* (франц.). – Примеч. ред.

⁶⁴ Стеснялись, от *se gêner* (франц.). – Примеч. ред.

и не нужно: мы двое и весь наш круг приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг.

И эта-то девушка, полная любви, с своей безусловной преданностью, покорностью, наделала Кетчеру бездну вреда. На ней было все благословение и все проклятие, лежащее на пролетариате, да еще особенно на нашем.

В свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она Кетчеру.

И то и другое в совершенном неведении и с безусловной чистотой намерений!

Она окончательно испортила жизнь Кетчера, как ребенок портит кистью хорошую картину, воображая, что он ее раскрашивает. Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы – дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь, – и она, воспитавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Связывая вновь необыкновенной силой воли порванные концы, она крепко держалась за узел.

Ускользнуть Кетчер уже не мог. Но он и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер искренно стремился загладить его, подвиг Серафимы увлек его. Склоняясь перед ним, он знал, что, в свою очередь, и он делает жертву; но, натура в высшей степени честная и благородная, он был рад ей как искуплению. Только знал-то он одну материальную сторону ее, фактическое стеснение жизни... о противоречии сожития старого студента с шиллеровскими мечтами с женщиной, для которой не только мир Шиллера не существовал, но и мир грамотности, мир всего светского образования, ему и в голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица *inter pares amicitia*⁶⁵ совершенно верна, и всякий *mésalliance*⁶⁶ – вперед посеянное несчастье. Много глупого, надменного, буржуазного разумелось под этим словом, но сущность его истинна. В худшем из всех неравенств – в неравенстве развития – одно спасение и есть: воспитание одного лица другим; но для этого надобно два редкие дара: надобно, чтоб один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтоб один вел, другой шел. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталъ, он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокаивается, запутанный нитками и тесемками. Бывает и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитие превращается в консолидированную войну, в вечное единоборство, в котором лица крепнут и остаются на веки веков в бесплодных усилиях, с одной стороны, поднять и, с другой, стянуть, т. е. отстоять свое место. При равных силах этот бой поглощает жизнь, и самые крепкие натуры истощаются и падают обессиленными среди дороги. Падает всего прежде натура развитая – ее эстетическое чувство глубоко оскорблено двойным строем, лучшие минуты, в которые все звонко и ярко, ей отравлены... Экспансивные люди страстно требуют, чтоб все близкое им было близко их мысли, их религии. Это принимается за нетерпимость. Для них прозелитизм дома – продолжение апостольства, пропаганды; их счастье оканчивается там, где их не понимают... а чаще всего их не хотят понять.

Позднее воспитание сложившейся женщины – дело очень трудное, особенно трудное в тех сожитиях, которыми оканчиваются, а не начинаются близкие отношения. Связи, легко, ветрено начатые, редко поднимаются выше спальни и кухни. Общая крыша слишком поздно покрывает их, чтоб под ней можно было учиться, разве какое-нибудь страшное несчастье

⁶⁵ Между равными дружба (лат.). – Примеч. ред.

⁶⁶ Неравный брак (франц.). – Примеч. ред.

разбудит душу спящую, но способную проснуться. По большей части *la petite femme*⁶⁷ никогда не делается *большой*, никогда не делается женой и сестрой вместе. Она остается или любовницей и лореткой или делается кухаркой и любовницей.

Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срываю по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность. Но одинаковость развития сглаживает многое. А когда его нет, а есть праздный досуг, нельзя вечно пороть вздор, говорить о хозяйстве или любезничать; а что же делать с женщиной, когда она что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо телесно близкое и умственно далекое. Ее не нужно днем, а она беспрестанно тут; мужчина не может делить с ней своих интересов, она не может не делить с ним своих сплетен.

Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. Вот в эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрызг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Бесследным это не остается.

Бывают прочные отношения сожития мужчины с женщиной без особенного равенства развития, основанные на удобстве, на хозяйстве, я почти скажу, на гигиене. Иногда это – рабочая ассоциация, взаимная помощь, соединенная с взаимным удовольствием; большей частью жена берется как сиделка, как добрая хозяйка, «*pour avoir un bon pot-au-feu*»⁶⁸, как говорил мне Прудон. Формула старой юриспруденции очень умна: *a mensa et torn*⁶⁹, – уничтожь общий стол и общую кровать, они и разойдутся с покойной совестью.

Эти деловые браки чуть ли не лучшие. Муж постоянно в своих занятиях, ученых, торговых, в своей канцелярии, конторе, лавке – жена постоянно в белье и припасах. Муж возвращается усталый – все готово у него, и все идет шагом и маленькой рысцой к тем же воротам кладбища, к которым доехали родители. Это явление чисто городское⁷⁰; в Англии оно является чаще, чем где-либо; это та среда мещанского счастья, о котором проповедовали моралисты французской сцены, о котором мечтают немцы; в ней легче уживаются разные степени развития через год после окончания курса в университете, тут есть разделение труда и чинопочитание. Муж, особенно при капитале, делается тем, чем его назвал смысл народный – *хозяин*, «*top bourgeois*» своей жены. Этим путем и благодаря законам о наследстве он не зарастет травой, всякая женщина постоянно остается *женщиной на содержании*, если не у постороннего, то у своего мужа. Она это знает.

Dessen Brot man ißt,
Dessen Lied man singt⁷¹.

Но в этих браках есть свое нравственное единство, есть свое одинаковое воззрение, свои одинакие цели. Кетчер сам цели не имел и равно не мог быть ни «хозяином», ни воспитателем. Он не мог с Серафимой даже бороться – она всегда уступала. Своим криком,

⁶⁷ Маленькая жена (франц.). – Примеч. ред.

⁶⁸ «Чтобы иметь хороший обед» (франц.). – Примеч. ред.

⁶⁹ От стола и ложа (лат.). – Примеч. ред.

⁷⁰ Ни у пролетария, ни у крестьян нет между мужем и женой двух разных образований, а есть тяжелое равенство перед работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

⁷¹ Чей хлеб ешь, того песню поешь (нем.). – Примеч. ред.

своим строптивым характером он запугал ее. При ее развитом сердце у нее было тяжелое, упирающееся понимание, та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно не привыкших к отвлеченной работе, и которая составляет одну из отличительных черт допетровских времен. Соединенная с своим «кровным, болезненным», она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бедности? Да разве она всю жизнь не была бедна, разве она не вынесла нищету – эту бедность с унижением? Работы? Разве она не работала с утра до ночи в мастерской за несколько грошей? Ссоры, разлуки? Да, последнее было страшно, и очень, но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было с ней в самом деле поспорить, а каприз она вынесла бы; пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть уверенной, что он ее хоть немного любит и не хочет с ней расстаться. И он этого не хотел, и на это, сверх всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кетчера, она стала заменять чего в ней не было постоянным уходом и заботливостью.

Кетчеру было за сорок лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома так, как киргиз в кибитке: без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исподволь все меняется, он окружен сетью внимания и услуг, он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен, ужас и слезы, когда он поднимает брови, и это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома – жаль же было и ее оставлять постоянно одну. К тому же трудно было, чтоб Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорностью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает без гнуса⁷², чтоб туча прошла. Покорная, безответная до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бедная, глупая Тереза Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства?

Влияние Серафимы на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен. Тереза развила подозрительность его в мелкую обидчивость и нехотя, без умысла рассорила его с лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умела порядком читать и никогда не могла выучиться узнавать, который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства.

Утром Руссо заходит к Гольбаху; человек приносит завтрак и три куверта: Гольбаху, его жене и Гримму; в разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. «Да останьтесь же завтракать», – говорит г-жа Гольбах и велит подать прибор; но уже поправлять поздно: Руссо, желтый от досады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили тарелки, намекая, чтоб он ушел. Ей такие рассказы по душе; в них она могла принять *горячее* участие: они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на М-ме Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы (например, от Юма) и удаляется, оставленный всеми, в Монморанси, проклиная, за недостатком людей, воробьев и ласточек, которым бросал зерны.

Еще раз – без равенства нет брака в самом деле. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, наложница, экономка, нянька, но *не жена* в полном, в благородном значении слова. Гейне говорил о своей «Терезе», что «она не знает и никогда не узнает о том, что он писал». Это находили милым, смешным, и никому не приходило в голову спросить: «Зачем же она была его жена?» Мольер, читавший своей кухарке свои комедии, был во сто раз человечественнее. Зато М-ме *Айн* и заплатила, вовсе

⁷² Злобы (франц.). – Примеч. ред.

нехотя, своему мужу. В последние годы его страдальческой жизни она окружила его своими приятельницами и приятелями, увядшими камелиями прошлого сезона, сделавшимися нравственными дамами от морщин, и полинялыми, поседевшими, падшими на ноги друзьями их.

Я нисколько не хочу сказать, чтоб жена непременно должна и делать и любить, что делает и любит муж. Жена может предпочитать музыку, а муж – живопись – это не разрушит равенства. Для меня всегда были ужасны, смешны и бессмысленны официальные таскания мужа и жены, и чем выше, тем смешнее; зачем какой-нибудь императрице Евгении являться на кавалерийское учение и зачем Виктории возить «своего мужчину», le Prince Consort⁷³ на открытие парламента, до которого ему дела нет. Гёте прекрасно делал, что не возил свою дородную половину на веймарские куртаги. Проза их брака была не в этом, а в отсутствии всякого общего поля, всякого общего интереса, который бы связывал их помимо полового различия...

Перехожу ко вреду, который мы сделали бедной Серафиме.

Ошибка, сделанная нами, опять-таки родовая ошибка всех утопий и идеализмов. Верно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого внимания, к чему эта сторона приросла и можно ли ее отделить, – никакого внимания на глубокое сплетение жил, связывающих дикое мясо со всем организмом. Мы всё еще по-христиански думаем, что стоит сказать хромоту: «Возьми одр твой и ступай», он и пойдет.

Мы разом перебросили затворницу Серафиму – Серафиму полудикую, не выдавшую людей, – из ее одиночества в наш круг. Ее оригинальность нравилась, мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, *что и так хорошо*. Но оставаться *просто* по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы – революционеры, социалисты, защитники женского освобождения – сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку*!

Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа – *épicier*?⁷⁴

Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Natalie поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих; пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией. Ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью – напротив, желание, чтоб ее не заметили. Как дитя, как слабый зверок, она прибегала под крыло Natalie; ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей *в ученье*, т. е. в мастерской.

Она сделалась игрушкой нашего круга – это наконец ей понравилось; она поняла, что ее положение, что она сама *оригинальны*, и с этой минуты она пошла ко дну... Никто не удержал ее. Одна Natalie серьезно думала о том, чтоб развить ее. Серафима не принадлежала к гуртовым натурам, ее миновали множество дрянных недостатков – она не любила рядиться, была равнодушна к роскоши, к дорогим вещам, к деньгам, лишь бы Кетчер не чувствовал нужды, был бы доволен, до остального ей не было дела. Сначала Серафима любила долго-долго говорить с Natalie и верила ей, кротко слушала ее советы и старалась им следовать... Но, оглядевшись, обжившись в нашем круге и, может, подстрекаемая другими, тешившись ее странностями, она начала показывать страдательную оппозицию и на всякое замечание говорила далеко не наивно: «Уж я такая несчастная... где мне меняться да переделываться? Видно, уж такая глупая и бесталанная и в могилку сойду». В этих словах с ведома

⁷³ Принца-супруга (франц.). – Примеч. ред.

⁷⁴ Лавочника (франц.). – Примеч. ред.

или без ведома звучало задетое самолюбие. Она перестала себя чувствовать свободной у нас, реже и реже ходила она к нам. «Бог с ней, с Н. А., – говорила она, – разлюбила она меня, бедную». Панибратство, пансионская фамильярность были чужды Natalie, в ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства. Серафима не поняла смысла разницы в обхождении с нею Natalie и других и забыла, кто первый протянул ей руку и прижал к сердцу; вместе с ней отдалился и Кетчер, все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность Кетчера удвоилась. В каждом неосторожном слове он видел преднамеренность, злой умысел, желание обидеть, и не его одного, а и Серафиму. Она, с своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за Кетчера, и по закону нравственной реверберации⁷⁵ собственные подозрения его возвращались к нему удесятенными. Его обличительная дружба стала превращаться в желание найти в нас вины, в надзор, в постоянное полицейское следствие, и мелкие недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны их.

В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врываться пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразной; постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки.

Вся эта едкая пыль насаждала во все щели и мало-помалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер с своими обвинениями против меня и Огарева – Грановский не верил им, но, жалея «больного, огорченного и все-таки любящего» Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости.

– Ведь ты знаешь, что у него нрав такой, это болезнь, влияние доброй Серафимы, но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении.

.....

Чтоб кончить этот грустный рассказ, приведу два примера... В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофея в Покровском...

Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек пять близких знакомых, и в том числе Михаил Семенович.

- Нанял ты нынешний год дом в Соколове?
- Нет еще, денег нет, а там надобно платить вперед.
- Неужели же все лето останешься в Москве?
- Подожду немного, потом увидим.

Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь.

Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корш и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови; но наконец все были обстреляны.

Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый; лист только что развернулся; мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановившись передо мной, с лицом прокурора фемического суда и с дрожащей от негодования губой, сказал мне:

– А надобно тебе честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что он еще не заплатил тебе девятьсот рублей, которые брал у тебя.

⁷⁵ Отражения, от reverberation (франц.). – Примеч. ред.

Я истинно ничего не понял, тем больше что, наверное, год не думал об долге Щепкина.

– Деликатно, нечего сказать, старик теперь без денег, с своей огромной семьей, собирается в Крым, а тут ему в присутствии пяти человек говорят: «Нет денег на наем дачи!» Фу, какая гадость!

Огарев вступился за меня, Кетчер накинулся на него; нелепым обвинениям не было конца; Грановский попробовал его унять, не смог и уехал с Коршем прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел исподлобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой.

Я хотел на этот раз дать сильный урок и если не вовсе прервать, то приостановить сношения с Кетчером. Он раскаивался, плакал, Грановский требовал мира, говорил с Natalie, был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «Ведь это на три дня».

Вот прогулка, а вот и другая.

Месяца через два мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал их провожать верхом на своей черкесской лошади; не было ни тени ссоры, размолвки.

...Огарев возвратился через два-три часа; мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись.

На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке; он был задумчив, грустнее обыкновенного и наконец сказал мне, что у него есть что-то на душе и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой знают все, бывшие в Соколове.

– Герцен, – сказал мне Грановский, – если б ты знал, как мне тяжело, как больно... как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь... и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут, как на смех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность...

– Да что случилось... скажи, пожалуйста? – спросил я, действительно испуганный.

– То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным... Я стараюсь, делаю что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать.

– Да дело-то в чем?

– А вот в чем: вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провожать верхом.

– При мне было, да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил.

– На мосту Кортик зашалил, стал на дыбы; Огарев, умиряя его, с досады выругался при Серафиме, и она слышала... да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает: «Отчего на него не находят рассеянности в присутствии твоей жены или моей?» Что на это сказать?.. И притом, при всей простоте своей, Серафима очень суссептибельна!⁷⁶ что при ее положении очень понятно.

Я молчал – это перешло все границы.

– Что ж тут делать?

– Очень просто: с негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно раззнакомиться. С такими людьми быть близким другом презрительно...

– Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно.

– Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе.

Грановский смутился.

⁷⁶ Обидчива, от susceptible (франц.). – Примеч. ред.

– Боже мой! – сказал он, – неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды, – неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую... мне было очень тяжело.

– Грановский, – сказал я ему, – Корш прав: мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в постромки... *Gemach!* друг мой, *Gemach*⁷⁷ Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края – мы разойдемся без ненависти и злобы... что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.

Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было. Огарев действительно осенью уехал, а вслед за ним и мы.

Laurel House, Putney, 1857.

Пер. в Буасьере и на дороге в сентябре 1865-го.

...Реже и реже доходили до нас вести о московских друзьях. Запуганные террором после 1848-го, они ждали верной оказии. Оказии эти были редки, паспортов почти не выдавали. От Кетчера – годы целые ни слова; впрочем, он никогда не любил писать.

Первую живую весть после моего переселения в Лондон привез в 1855 году доктор Пикулин... Кетчер был в своей стихии, шумел на банкетах в честь севастопольцев, обнимался с Погодиным и Кокоревым, обнимался с черноморскими моряками, шумел, бранился, поучал. Огарев, приехавший прямо со свежей могилы Грановского, рассказывал мало, его рассказы были печальны...

Прошло еще года полтора. В это время была окончена мною эта глава – и кому первому из посторонних прочтена? Да, *habent sua fata libelli*⁷⁸.

Осенью 1857 года приехал в Лондон *Чичерин*. Мы его ждали с нетерпением: некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и Кетчера, он для нас представлял близкого человека. Слышали мы о его жесткости, о консерваторских веллеитетах⁷⁹, о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод... Много угловатого обтачивается теченьем времени.

– Я долго думал, ехать мне к вам или нет. К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть... Я же, как вы знаете, вполне уважая вас, далеко не во всем согласен с вами.

Вот с чего начал Чичерин.

[Он] подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой... Свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я почуял, что это не противник, а враг, но подавил физиологический сторожевой окрик, и мы разговорились.

Разговор тотчас перешел к воспоминаниям и к расспросам с моей стороны. Он рассказывал о последних месяцах жизни Грановского, и, когда он ушел, я был довольнее им, чем сначала.

На другой день после обеда речь зашла о Кетчере. Чичерин говорил об нем как о человеке, которого он любит, беззлобно смеясь над его выходками; из подробностей, сообщенных им, я узнал, что обличительная любовь к друзьям продолжается, что влияние Серафимы дошло до того, что многие из друзей ополчились против нее, исключили из своего общества

⁷⁷ Спокойствие!.. спокойствие! (нем.) – Примеч. ред.

⁷⁸ Книги имеют свою судьбу (лат.) – Примеч. ред.

⁷⁹ Стремлениях, от *velléité* (франц.) – Примеч. ред.

и пр. Увлеченный рассказами и воспоминаниями, я предложил Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о Кетчере и прочел ее всю. Я много раз раскаивался в этом – не потому, чтоб он во зло употребил читанное мною, а потому, что мне было больно и стыдно, что я в сорок пять лет мог разоблачать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим «темпераментом».

Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гуверnementалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.

– Зачем вы хотите быть профессором, – спрашивал я его, – и ищете кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель.

Споря с ним, проводили мы его на железную дорогу и расстались, не согласные ни в чем, кроме взаимного уважения.

Из Франции он написал мне недели через две письмо, с восхищением говорил о работах, об учреждениях. «Вы нашли то, что искали, – отвечал я ему, – и очень скоро. Вот что значит ехать с готовой доктриной». Потом я предложил ему начать печатную переписку и написал начало длинного письма.

Он не хотел, говорил, что ему некогда, что такая полемика будет вредна...

Замечание, сделанное в «Кол<околе>» о доктринерах вообще, он принял на свой счет; самолюбие было задето, и он мне прислал свой «обвинительный акт», наделавший в то время большой шум.

Чичерин кампанию потерял – в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в «Колоколе», был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано. Мы еще шли тогда в восходящем пути, и катковские бревна трудно было класть под ноги. Сухоскорбительный, дерзко-гладкий тон возмущил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом: он был еще нов тогда... Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна – Ифигения: Зимнего дворца, Тимашев, начальник III отделения, и Н. Х. Кетчер.

Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же откровенным негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина... И это не потому, чтоб

Грандисона Ловласу предпочла,

а потому, что, носимый без собственного компаса à la remorque⁸⁰ кружка, он остался верен ему, не замечая, что тот плывет в противоположную сторону. Человек котерии⁸¹ – для него вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот.

Никогда не доработавшись ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения, он шел с благородными стремлениями и завязанными глазами и постоянно бил врагов, не замечая, что позиции менялись, и в этих-то жмурках бил нас, бил других... бьет кого-нибудь и теперь, воображая, что делает дело.

⁸⁰ На буксире (франц.). – Примеч. ред.

⁸¹ Кружка, от coterie (франц.). – Примеч. ред.

Прилагаю письмо, писанное мной к Чичерину для начала приятельской полемики, которой помешал его прокурорский обвинительный акт.

My learned friend!⁸²

Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены *в том, что* знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было *так и так*, настоящее должно быть *так и так* и привести к *такому-то* будущему; вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам досталась завидная доля священников – утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение – открытый вопрос, доктрина – «опрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение никогда не достигает такой резкой законченности, оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений. Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за единospасающий угол, а сомнение ищет отделаться от всех углов, осматривается, возвращается назад... и часто парализует всякую деятельность своим смирением перед истиной. Вы, ученый друг, определенно знаете, куда идти, как вести, – я не знаю. И оттого я думаю, что нам надобно наблюдать и учиться, а вам – *учить* других. Правда, мы можем сказать, *как не надобно*, можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль, освободить ее от цепей, улетучить призраки церкви и съезжей, академии и уголовной палаты – вот и все; но вы можете сказать, *как надобно*.

Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, т. е. отношение с *точки зрения вечности*; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в *Сампо Santo*⁸³ науки или входят уже очищенные от *живой жизни*, вроде гербария логических теней. Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет, как в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания, доктрина держит себя, как Симеон Столпник, – на пьедестале, жертвуя всем временным – вечному, общим идеям – живыми частностями.

Словом, доктринеры – больше всего историки, а мы вместе с толпой – ваш субстрат; вы – история *für sich*⁸⁴, мы – история *an sich*⁸⁵. Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны мы, вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете... вы – доктора и попы наши. Но больные и умирающие мы.

Этот антагонизм – не новость, и он очень полезен для движения, для развития. Если б род людской мог весь поверить вам, он, может, сделался бы благоразумным, но умер бы от всемирной скуки. Покойный Филимонов поставил эпитафией к своему «Дурацкому колпаку»: «*Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien*»⁸⁶.

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ее дают ей обширную возможность обобщений, она должна бояться впечатлений и, как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало. Но для деятельного вмешательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает. Всеобщее он понимает,

⁸² Мой ученый друг (англ.). – Примеч. ред.

⁸³ Кладбище (итал.). – Примеч. ред.

⁸⁴ Для себя (нем.). – Примеч. ред.

⁸⁵ В себе (нем.). – Примеч. ред.

⁸⁶ «Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы» (франц.). – Примеч. ред.

а частное любит или ненавидит. Спиноза со всею мощью своего откровенного гения проповедовал необходимость считать существенным одно неточимое молью, вечное, неизменное – субстанцию и не полагать своих надежд на случайное, частное, личное. Кто это не поймет в теории? Но только привязывается человек к одному частному, личному, современному, в уравнивании этих крайностей, в их согласном сочетании – высшая мудрость жизни.

Если мы от этого общего определения наших противоположных точек зрения перейдем к частным, мы – при одинаковости стремлений – найдем не меньше антагонизма даже в тех случаях, когда мы согласны в начале. Примером это легче объяснить.

Мы совершенно согласны в отношении к религии, но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с *подлунной* религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из гвельфа вы сделали гибеллином, чины небесные заменились для вас государственным чином, поглощение лица в боге – поглощением его в государстве, бог заменен централизацией и поп – кварталным надзирателем.

Вы в этой перемене видите переход, успех, мы – новые цепи. Мы не хотим быть ни гвельфами, ни гибеллинами. Ваша светская, гражданская и уголовная религия тем страшнее, что она лишена всего поэтического, фантастического, всего детского характера своего, который заменится у вас канцелярским порядком, идолом государства с царем наверху и палачом внизу. Вы хотите, чтоб человечество, освободившееся от церкви, ждало столетия два в передней присутственного места, пока каста жрецов-чиновников и монахов-доктринеров решит, как ему быть вольным и насколько. Вроде наших комитетов об освобождении крестьян. А нам все это противно – мы можем многое допустить, сделать уступку, принести жертву обстоятельствам; но для вас это не жертвы. Разумеется, и тут вы счастливее нас. Утратив религиозную веру, вы не остались ни при чем, и, найдя, что гражданские верования человеку заменяют христианство, вы их приняли – и хорошо сделали – для нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это нам першит в горле, и мы ваше присутственное место, вашу централизацию ненавидим совсем не меньше инквизиции, консистории, Кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу? Вы как учитель хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы как стадо, приходящее к сознанию, не хотим, чтоб нас пасли, а хотим иметь свои земские избы, своих поверенных, своих подьячих, которым поручать хождение по делам. Оттого нас *правительство* оскорбляет на всяком шагу своей властью, а вы ему рукоплещете так, как ваши предшественники, попы, рукоплескали светской власти. Вы можете и расходиться с ним так, как духовенство расходилось или как люди, ссорящиеся на корабле, как бы они ни удалялись друг от друга: за борт вы не уйдете, и для нас, мирян, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религия – апотеоза государства, идея чисто романская и в новом мире преимущественно французская. С нею можно быть сильным государством, но нельзя быть свободным народом, можно иметь славных солдат... но нельзя иметь независимых граждан. Северо-Американские Штаты, совсем напротив, отняли религиозный характер полиции и администрации до той степени, до которой это возможно.

Эпилог

Перечитывая главу о Кетчере, невольно призадумываешься о том, что за чудачки, что за оригинальные личности живут и жили на Руси! Какими капризными развитиями сочилась и просочилась история нашего образования. Где, в каких краях, под каким градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?

А сколько я их нагладелся – этих оригинальных фигур «во всех родах различных», начиная с моего отца и оканчивая «детьми» Тургенева.

«Так русская печь печет!» – говорил мне Погодин. И в самом деле, каких чудес она не печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий лад... от саек и калачей до православных булок с Гегелем и французских хлебов *à la quatrevingttreize*!⁸⁷ Досадно, если все эти своеобразные печенья пропадут бесследно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильных деятелях.

...Но в них меньше видна русская печь, в них ее особенности поправлены, выкуплены, в них больше русского склада да ума, чем печи. Возле них пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившиеся с дороги, – вот в их-то числе не оберешься чудаков.

Волосяные проводники исторических течений, капли дрожжей, потерявшихся в опаре, но поднявших ее *не для себя*. Люди, рано проснувшиеся темной ночью и ощупью отправившиеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дороге, – они разбудили других на совсем иной труд.

...Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля от полного забвения. Их уж теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезаются вершины гор и утесов...

⁸⁷ Девяносто третьего года! (франц.) – Примеч. ред.

С того берега (1849/1855)

СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ

Друг мой Саша.

Я посвящаю тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучшего не напишу; потому что я люблю эту книгу как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания; потому, наконец, что я нисколько не боюсь дать в твои отроческие руки этот, местами дерзкий протест независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других.

Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.

В твоей жизни придут иные вопросы, иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка не будет. Тебе пятнадцать лет – и ты уже испытал страшные удары.

Не ищи решений в этой книге – их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только что начинается.

Мы не строим, мы ломаем, мы не воздвигаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus⁸⁸ ставит только мост – иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его... Не останься на старом берегу... Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции.

Религия грядущего общественного пересоздания – одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести... Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня.

...Благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!

Твой отец

Твикнем, 1 января 1855 г.

[ВВЕДЕНИЕ]

«Vom andern Ufer»⁸⁹ – первая книга, изданная мною на Западе; ряд статей, составляющих ее, был написан по-русски в 1848 и 1849 году. Я их сам продиктовал молодому литератору Ф. Каппу по-немецки.

Теперь многое не ново в ней⁹⁰. Пять страшных лет научили кой-чему самых упорных людей, самых нераскаянных грешников нашего берега. В начале 1850 г. книга моя сделала много шума в Германии; ее хвалили и бранили с ожесточением, и рядом с отзывами, больше

⁸⁸ Здесь: великий строитель мостов (лат.). – Примеч. ред.

⁸⁹ «С того берега» (нем.). – Примеч. ред.

⁹⁰ Я прибавил три статьи, напечатанные в журналах и назначенные для второго издания, которое немецкая цензура не позволила; эти три статьи: «Эпилог», «Omnia mea mecum porto» и «Донозо Кортес». Ими заменил я небольшую статью об России, писанную для иностранцев.

нежели лестными, таких людей, как Юлиус Фрёбель, Якоби, Фальмерейер, люди талантливые и добросовестные с негодованием нападали на нее.

Меня обвиняли в проповедовании отчаяния, в незнании народа, в *dépit amoureux*⁹¹ против революции, в неуважении к демократии, к массам, к Европе...

Второе декабря ответило им громче меня.

В 1852 г. я встретился в Лондоне с самым остроумным противником моим, с Зольгером; он укладывался, чтоб скорее ехать в Америку; в Европе, казалось ему, делать нечего. «Обстоятельства, – заметил я, – кажется, убедили вас, что я был не вовсе неправ?» – «Мне не нужно было столько, – отвечал Зольгер, добродушно смеясь, – чтоб догадаться, что я тогда писал большой вздор».

Несмотря на это милое сознание, общий вывод суждений, оставшееся впечатление были скорее против меня. Не выражает ли это чувство раздражительности – близость опасности, страх перед будущим, желание скрыть свою слабость, капризное, окаменелое старчество?

...Странная судьба русских – видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, – русских, этих «немых», как говорил Мишле.

Вот что писал гораздо прежде меня один из наших соотечественников:

«Кто более нашего славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение нравов, всеместное распространение духа общности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений... хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных... Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки.

Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя.

Мизософы торжествуют. «Вот плоды вашего просвещения, – говорят они, – вот плоды ваших наук; да погибнет философия!» И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяет: да погибнет!

Кровопролитие не может быть вечно. Я уверен, рука, секущая мечом, утомится; сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут, тишина рано или поздно настанет, но какова будет она? – есть ли мертвая, хладная, мрачная...

Падение наук кажется мне не только возможным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они, когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампы угаснут – что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце. Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие уединенные свои хижины, – но что же будет с миром?

Я закрываю лицо свое!

Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственной тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? Печальный образ!

Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают вероятность сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим

⁹¹ Любвонной досаде (франц.). – Примеч. ред.

отрывкам можно думать, что сии народы были не варвары... Царства разрушались, народы исчезали, из праха их рождались новые племена, рождались в сумраке, в мерцании, младенчествовали, учились и славились. Может быть, Зоны погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет.

Египетское просвещение соединяется с греческим. Римляне учились в сей великой школе.

Что же последовало за сею блестящею эпохой? Варварство многих веков.

Медленно редела, медленно прояснялась густая тьма. Наконец солнце воссияло, добрые и легковверные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: берег! но вдруг небо дымится и судьба человечества скрывается в грозных тучах! О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому... Нет ответа! — голова моя клонится к сердцу.

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез. Мой друг! на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?

Дух мой уныл, слаб и печален!»

Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов Н. М. Карамзиным.

Введением к русской рукописи были несколько слов, обращенных к друзьям на Руси. Я не счел нужным повторять их в немецком издании — вот они:

ПРОЩАЙТЕ!

(Париж, 1 марта 1849 г.)

Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, мои друзья.

Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества шестьдесят миллионов человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь. Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противодействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!

Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь; да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых, — отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы. Вы видели грусть в каждой строке моих писем; жизнь здесь очень тяжела, ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме как в кучку людей,

в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит, и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

Зачем же я остаюсь?

Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достоинства, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых».

За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык – моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и наконец принес все на жертву:

Человеческому достоинству,
Свободной речи.

До последствий мне нет дела, они не в моей власти, они скорее во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться – я и не послушался.

Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?... На борьбу – идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение – ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.

Свобода лица – величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь – мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить с точки зрения романтического патриотизма и цинической натянутости; но я не могу допустить этих староверческих воззрений; я их пережил, я вышел из них и именно против них борюсь. Эти подогретые остатки римских и христи-

анских воспоминаний мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе, — понятий здоровых, ясных, возмужалых. По счастью, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный их предками в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка.

В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности один из великих человеческих принципов европейской жизни.

В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремились даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписаное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.

Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Избалованность власти, не встречавшей никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете меру ее из рассказов о поэте своего ремесла, императоре Павле. Отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике. Опынение самовластья овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в четырнадцать ступеней. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных видах, исправительные розги в инженерном институте. Так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII веке; так, как вся Русь наконец поверила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делается, ни даже те, которых продавали. Власть у нас увереннее в себе, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не останавливает, никакое прошлое; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них, теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей; теперь оно поучает.

Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадёжным гнетом и уцелели кой-как. Но не мало ли этого? Не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14 декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра – все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали.

Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела.

Кто больше двадцати лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель.

Все это кажется новым и странным только нам, в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это издали придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция – первый признак приближающегося переворота.

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу *das vornehme Ignorieren*⁹² России с тех пор, как она испытала мещанское самодержавие и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся.

До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе. Не стыдно ли?

Успею ли я что сделать?.. Не знаю, надеюсь!

Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там кто знает, чего мы не видали в последнее время! Быть может, и не так далек, как

⁹² Высокомерное игнорирование (нем.). – Примеч. ред.

кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «За Русь и святую волю!»

Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти дома, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! Ну, а если? Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!

I

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

(разговор на палубе)

Ist's denn so großes Geheimnis was Gott und der Mensch und die Welt sei?

Nein, doch niemand hört's gerne, da bleibt es geheim.

*Goethe*⁹³

...Я согласен, что в вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; может, это дело организации, нервной системы. У вас не будет последователей, пока вы не научитесь перемещать крови в жилах.

— Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться, вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.

— Только наверное не для того, чтоб успокоиться, отделаться от страданий, смотреть в безучастном созерцании с высоты олимпийского величия, как Гёте, на тревоженный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося установиться.

— Вы становитесь злы, но ко мне это не относится; если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели, мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противоречиям или к нелепостям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаяния, и это потому, что был молод; теперь я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю очень дорого, их остается все меньше и меньше. Тогда я искал только истины, усиленного понимания; много ли уразумел, много ли понял, не знаю. Не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать, — вот все выработанное мною.

— Я, с своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать, это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им; мое негодование — мой протест; я не хочу мириться.

— Да и не с кем. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять истины так, как она откроется вашей собственной мыслию, — может, она

⁹³ Мир, человек и бог — неужели это все тайна? Нет; но не любят о них слушать — и тайна темна. (Пер. С. Ошерова) Гёте, 65-я эпиграмма из цикла «Epigramme. Venedig». — Примеч. ред.

и не потребует от вас страданий; вы вперед отрекаетесь от логики, вы предоставляете себе по выбору принимать и отвергать последствия. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В таком упорном желании оставаться в разрыве с миром – не только непоследовательность, но бездна суетности; человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастье. Это еще не всё – сверх суетности тут бездна трусости. Не сердитесь за слово; из-за боязни узнать истину многие предпочитают страдание разбору: страдание отвлекает, занимает, утешает... да, да, утешает; а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь – постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слышать речей, раздающихся внутри; ему грустно – он бежит рассеяться; ему нечего делать – он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству – он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете – вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидеть вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастьях, усложняя каждый шаг вымышленными путями, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проникательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжелее – все же нравственное, достойнее, мужественнее не ребячиться. Если б люди смотрели друг на друга, как смотрят на природу, смеясь сошли бы они с своих пьедесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и личные фантазии. Вы, например, ждали от жизни совсем не то, что она вам дала; вместо того чтоб оценить то, что она вам дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо, – острая закваска, влекущая человека вперед, к деятельности, к движению; но ведь это один начальный толчок, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно: чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?

– Я их не выдумывал, они невольно родились в моей груди; чем больше я размышлял об них потом, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность – вот мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помешательство; тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития – и тем больше, чем больше развития. Повсюдная скорбь – самая резкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современного человека, сознание нравственного бессилия его томит, отсутствие доверия к чему бы то ни было старит его прежде времени. Я на вас смотрю как на исключение, да и, сверх того, ваше равнодушие мне подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом явлении скорби, тягости, всеобщность его дает ему некоторое право. Сознайтесь, что именно с вашей точки зрения довольно трудно возражать на это.

– На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, как соглашаться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Страдание, боль – это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность. Мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно его вылечить и задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий; отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела не идут. Смерть больного облегчает душу оставшихся; льются слезы, но нет более убийственного ожидания, несчастье перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды, и жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. Мы живем во время большой и трудной агонии, это достаточно объясняет нашу тоску. К тому же предшествовавшие века особенно воспитали в нас грусть, болезненное томление. Три столетия тому назад все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмеливалась поднимать свой голос, ее положение было похоже на положение жидов в Средних веках, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум, он вырос, возмужал внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма он естественно перешел в идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызения обманутой совести, притязания на невозможные блага; он остался при разладе с жизнью, при романтической тоске, он воспитал себя в страданиях и разорванности. Давно ли мы, застрашенные с детства, перестали отказываться от самых невинных побуждений? Давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не вошедшие в каталог романтического тарифа? Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно; оно и так и нет – все естественно, золотуха очень естественно происходит от дурного питания, от дурного климата, но мы ее все же считаем чем-то чужим организму. Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание нас обманывает прежде, нежели мы в состоянии понимать, уверяет в невозможном детей, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что ничто не ладится: ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться, гнило, хрупко, а от чего предостерегали, как от яду, целебно; забытые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы выходим с годами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель; кривя душой, притворяясь, мы считаем правду за порок и презрение ко лжи за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизация такова, она выросла в нравственном междоусобии; вырвавшись из школ и монастырей, она не вышла в жизнь, а прошла по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлексировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиные, в академию, в книги. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках; «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» – на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговариванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно

идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.

Вы, кажется, меня считаете немецким поэтом, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, «иную природу, другого солнца». Мне не хочется ни магии, ни мистерии, а просто выйти из того состояния души, которое вы сейчас представили в десять раз резче меня; выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором, наконец, мы перестали понимать, кто враг и кто друг: мне противно видеть, куда ни обернусь, или пытаемых, или пытающих. Какое колдовство нужно на то, чтоб растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить, объяснить им, например, что не надобно грабить нищего, что противно объедаться возле умирающего с голоду, что убийство равно отвратительно ночью на большой дороге тайком и днем открыто на большой площади при барабанном бое; что одно говорить, а другое делать подло... словом, все те новые истины, которые говорят, повторяют, печатают со времен семи греческих мудрецов, – да и тогда, я думаю, они уже были очень стары. Моралисты, попы гремят с кафедр, толкуют о нравственности, о грехах, читают Евангелие, читают Руссо – никто не возражает и никто не исполняет.

– По совести, жалеть об этом нечего. Все эти учения и проповеди по большей части неверны, неудобноисполнимы и сбивчивее простого обычного быта. Беда в том, что мысль забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время: несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: «Брось одр твой и иди за нами» – все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать, звать их, осыпать упреками, но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли; нам жаль старый мир, мы к нему привыкли, как к родительскому дому, мы поддерживаем его, стараясь его разрушить, и прилаживаем к своим убеждениям его неспособные формы, не видя, что первая йота их – его смертный приговор. Мы носим платья, шитые не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов, мозг наш образовался под влиянием предшествующих обстоятельств, он многого не осиливает, многое видит под ложным углом. Люди с таким трудом добились до современного быта, он им кажется такою счастливой пристанью после безумия феодализма и тупого гнета, следовавшего за ним, что они боятся изменять его, они отяжелели в его формах, обжились в них, привычка заменила привязанность, горизонт сжался... размах мысли сделался мал, воля ослабла.

– Прекрасная картина; добавьте, что возле этих удовлетворенных, которым современный порядок по плечу, с одной стороны, бедный, неразвитый народ, одичалый, отсталый, голодный, в безвыходной борьбе с нуждой, в изнуряющей работе, которая не может его пропитать; а с другой – мы, неосторожно забежавшие вперед, землемеры, вбивающие вехи нового мира, и которые никогда не увидим даже выведенного фундамента. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук (да еще как прошла), если что-нибудь осталось, то это вера в будущее; когда-нибудь, долго после нашей смерти, дом, для которого мы расчистили место, выстроится, и в нем будет удобно и хорошо – другим.

– Впрочем, нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану...

...Молодой человек сделал недовольное движение головой и посмотрел с минуту на море – совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась над головами, так низко, что дым парохода, стелясь, мешался с ней, море было черно, воздух не освежал.

– Вы со мною поступаете, – сказал он, помолчав, – так, как разбойники с путешественниками; ограбивши у меня все, вам кажется еще мало, вы добираетесь до последнего рублища, которое меня предохраняет от стужи, до моих волос; вы заставили меня сомневаться в многом, у меня оставалось будущее – вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, как Макбет.

– А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.

– Пожалуй, это еще лучше, хирург отрезывает больную часть тела, не заменяя ее здоровой.

– И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.

– Знаем мы ваше освобождение. Вы открываете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника в степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете Бастилию, но не воздвигаете ничего в замену острога, остается одно пустое место.

– Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите; худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.

– Чему мешают? Где, в самом деле, наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?

– Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой. Вы сейчас сказали, что мы биваем вехи новому миру...

– И их вырывает из земли дух отрицания и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация – ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды – вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика. Впрочем, может быть, вы то и хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, отказались от нее, воротились бы к отставшим.

– Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю? Наша цивилизация – лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием? Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?

– Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним плодом наших трудов, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, в настоящем нам нет дела; спастись некуда, мы с этим кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки ждать, пока вода зальет, а кому скучно, кто поотважнее, тот может броситься в воду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.